

Б И Б Л И О Т Е К А

ISSN 0132-2095



**ОГОНЁК**

№ 39

1988



*Эдвард РАДЗИНСКИЙ*

М О С К В А

ИЗДАТЕЛЬСТВО

«П Р А В Д А»

**НАШ ДЕКАМЕРОН**



БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК» № 39

Эдвард РАДЗИНСКИЙ

# НАШ ДЕКАМЕРОН

РАССКАЗЫ

Москва. Издательство «ПРАВДА»  
1988

## Эдвард РАДЗИНСКИЙ

Эдвард Станиславович Радзинский /род. 1936 г./ окончил Московский государственный историко-архивный институт. В 1960 году дебютировал как драматург на сцене Московского театра юного зрителя пьесой «Мечта моя Индия». С тех пор писал пьесы, которые ставились в крупнейших театрах страны — МХАТе. Ленинградском БДТ им. Горького, в московских театрах имени Маяковского, Моссовета, Ленинского комсомола, театре Ермоловой, на Малой Бронной и т. д. и за рубежом — в театрах США, Франции, ФРГ, Дании, Швеции, Финляндии, Канады и т. д. Наиболее известные пьесы Э. Радзинского — историческая трилогия /«Беседы с Сократом», «Театр времен Нерона и Сенеки», «Луний»/, а также — «104 страницы про любовь», «Снимается кино», «Спортивные сцены 1981 г.», «Она в отсутствии любви и смерти» и т. д. (Все эти пьесы напечатаны в сборниках его пьес — «Театр» и «Беседы с Сократом».)

«Наш Декамерон» — первая книга прозы, написанная им в семидесятых годах. Впервые рассказы из этой книги опубликованы в «Огоньке» в 1987 году.

## «НАШ ДЕКАМЕРОН»

Это роман о писателе. Когда-то, в период оттепели, этот писатель блестяще дебютировал... Но пришла другая эпоха — и печатать его перестали... Идут годы — и от вынужденного молчания... он начинает меняться... Он продолжает писать правду, но... Он уже способен только клеймить, издеваться, он утерял способность сопереживать и, главное, прощать. Эпоха застоя уродовала таланты — в этом суть времени, с которым мы сегодня расстаемся.

М. ДЕМЕНТЬЕВА

В 197... году в крутые власьевские морозцы, когда лопались от холода водопроводные трубы, в городе Москве удавился Д., очень веселый парень.

Многочисленные друзья покойного, простив ему обиды (легко), долги (трудно), запихнули своего жизнерадостного друга в совсем замерзшую землю и пошли опрокинуть рюмашку по этому радостному (не они лежат в ящике) и грустному (любили они его, врага) событию.

Это были все истинные кавалеры 60-х годов нашего века, а их дамы были просто фантастической красоты (правда, тоже — прошлых десятилетий).

Ну, сначала дамы и кавалеры, уважая привычки покойного, выпили, согласно тогдашним обычаям, очень много раз... А потом уже прочли вслух «Завещание Д.». Привожу его полностью:

«Старики и старухи! (Уже в буквальном, к сожалению, смысле.) Во-первых, я задолжал членские взносы за много лет во все творческие союзы, членом которых я являлся. Завещаю: ни в коем случае не платить! Покойник этого не любил!

Во-вторых. Если зададут вам впоследствии наш вечный всероссийский вопрос: «Каин, где брат твой Авель?» — отвечайте вечным нашим всероссийским ответом: «Разве я сторож брату своему?»

В-третьих, требую: когда будете пьянствовать в мою честь (поминки) — непременно рассказывать истории «про любовь». Покойник это любил. От каждого из вас, дамы и кавалеры, по истории. И чешите без

продыха — всю ночь... Итак, да здравствует «Наш Декамерон». Декамерон в честь вашего друга Д.

...Прочтя завещание, друзья Д. так и поступили. Назамедлительно начали дамы и кавалеры «Наш Декамерон».

Первым взял слово многолетний друг. Он знал Д. с детства, поэтому хорошо изучил его вкусы. И не ошибся, когда объявил причудливую историю — «О тщетной любви в сапоге». Д. любил такие истории.

## О ТЩЕТНОЙ ЛЮБВИ В САПОГЕ

— Итак, дело было на большой реке, на великой реке. Над рекой, высоко на горе, стояла Статуя и смотрела в речные дали. Дело было в пятидесятых, так что мне и не нужно объяснять, чья это была Статуя. Статуя стояла в усах, в фуражке, в шинели генералиссимуса, плечи ее были выше облаков. И безгрешные птицы, которые летели несметными стаями из низовьев великой реки в ее верховья, а из верховьев — опять в низовья, отдыхали во время трудных своих перелетов на этой самой Статуе.

Я не смею описать вольности, которые позволяли при сем пернатые, но думаю, вы легко вообразите, во что превратились со временем фуражка и лицо Статуи.

И людям пришлось задуматься. Потому что птичек, как известно, наказывать нельзя, а человека — можно. И очень строго можно. Так что люди подумали и пропустили через Статую ток высокого напряжения. Теперь Статуя могла легко себя защитить — и вскоре все пространство вокруг было усеяно птичьими трупиками.

А Статуя величаво стояла, вперив глаза в необозримые дали, посреди ковра из мертвых птиц.

Но наступила смена исторических эпох, и как-то ночью зажгли прожектор, подъехал танк, Статую обвязали тросом и стянули с пьедестала.

Теперь Статуя лежала на земле, распавшись на много частей. Когда я приехал, вся история уже была преданием. Земля, унавоженная птичьими телами, цвела, цвела. И на откосе среди моря цветов возлежали только гигантские Сапоги — все, что осталось от Статуи.

В то лето мы приехали на этюды — рисовать передовиков сельского хозяйства. Мне достался портрет знатной птичницы Клавы С.

Ах, как хороша была Клава С.! Только дорожа временем, воздержусь от описания. Короче, влюбился я в знатную птичницу. Как вы уже догадались, я не робок. Поэтому во время сеанса (естественно, натура позировала отнюдь не обнаженной, но в новом джерсовом костюме с медалью) я не столько думал о живописи, сколько о том, как это говорится в Декамероне — «удовлетворить вспыхнувшее чувство». Но как только намеревался я открыть рот и поведать о страсти, прекрасная

птичница раздражалась бесконечными монологами, осуждающими нашу городскую распушенность. Эти монологи она говорила безостановочно, но чувство... чувство мое не гасло. Напротив, я пылал, в то время как она громила несчастных горожан.

— Да, насмотрелась я... Была я как-то в городе на танцах... Как же... Пришли в ДК. Подходит — пожилой такой, лет двадцать шесть, не меньше. «Разрешите пригласить». Приглашай, думаю. Танцуем. Потом говорит: «Можно вас проводить? Только учтите — обратно я возвращаться непривычный». Ну турок! Турок!

Наконец, она останавливалась. Возбужденный ее красотой, я готовился в изысканных выражениях поведать про свою страсть, но птичница уже продолжала:

— Я вам так скажу! У нас даже бык корову три дня охаживает, прежде... А тут... нет, одно слово — турки!.. Поехала я как-то на учебу секретарей. В первый день все вместе собираемся, естественно, отмечаем. А ночью с трудом ушла целая от ваших городских секретарей. Еще обозвали. Говорят — ты для чего сюда приехала? Стыд-позор!!!

Совершенно истомленный этими возбуждающими рассказами, я не спал по ночам. А утром мука возобновлялась. И однажды, когда моя рука, поправляя ее прическу, невзначай скользнула по ее щеке, а мои губы уже готовились раскрыться для слов любви, — она, как всегда, начала:

— А еще я так вам скажу про ваши порядки городские...

И тут я не выдержал. С воплем я ринулся: мои губы схватили ее губы, и все мое тело напряглось, ожидая удара /она должна быть была сильна, очень сильна/. И вдруг восторг! Чудо! Я почувствовал на губах... поцелуй! Настоящий! Я сказал бы даже иступленный! Самый что ни на есть безумный поцелуй!

Она цвела мощным розовым румянцем.

— Теперь вы скажете, что я как городская и не будете меня уважать.

— Буду, буду!

— Тогда почему вы не спросите, девушка ли я?

Она легко сбросила мои руки.

— Девушка ли ты? — Я почти плакал.

— Пробили меня, — сказала она, вздохнув. — Познакомилась я с одним...

И опять мои руки, как пушинки, слетели с ее плеч.

— Все говорил — в МВД работаю, следователем. Мне мать потом сказала: «Ты к нему на работу ходила? Ты проверяла, какой он следователь?» А потом выяснилось, что он просто в тюрьме работал — ВОХРом. С них я и учиться не пошла. Если бы товарищ был интересный, я бы пошла. А для этого турка и так сойдет. С ним, с тюремщиком, я и... Мне мать тогда сказала: «Ты теперь пробитая, по рукам пойдешь, дура». А я его спрашиваю: «Когда ж распишемся?» Он мне говорит: «Не спеши». И тут я узнаю, что мать моего тюремщика с официанткой его по-

знакомила. А у той комната была. Он к ней и переехал. Тут я решила: все равно жизнь дала трещину. И уехала из проклятушего города обратно в деревню. Я землю люблю. Мне земли наши в городе снятся.

И опять она с легкостью убрала мои руки.

— Я тебя понимаю: я пробитая. Со мной только одно и можно. Но ты мне тоже нравишься. Ты на него похож. Ух, как я его, тюремщика, любила. Все его косточки перецеловала-пересчитала. Когда он меня бросил, — сумку в руках так мяла — замок сломала... Пойду с тобой встречаться. Только... тут... все на виду.

— Давай встретимся в лесу?

— В лесу нельзя. У нас корма в этом году не уродились. Ветзаготовки объявили молодежи. Ветки — заготавливать. По лесу их столько блуждает...

И тут меня осенило.

— А знаешь, где лежат Сапоги?

...С утра я отправился в Сапог. Я трудился целый день. Чего там только не было, в Сапоге! Вернее, что там только было! Я чувствовал себя Гераклом, очищающим авгиевы конюшни.

На следующий день я заполз в чистый Сапог и начал ждать. Наконец, показалась ее головка.

...Цветы росли у самого лица, и волжские дали, и мир в голубом, золотом и зеленом... И мне казалось — я уже слышу ее страстный шепот, отдававшийся эхом в Сапоге.

...И в памяти моей уже звучал Овидий: «Слыша, как стонет в ночи: о, подожди, подожди!» О, как я ждал ее!..

...Когда показалась наконец у Сапога ее головка:

— Небось подумали, — начала она, — если у меня кто был... со мной, значит, что хочешь можно?! Нет уж, я вам прямо скажу: забудьте ваши порядки городские! Ничего у вас не выйдет, городской товарищ! Стыд-позор!

...Я только застонал... И лишился чувств в Сапоге...

Боже мой! Сколько лет прошло с тех пор... Но всегда, когда я слышу стук сапог проходящих солдат, меня тотчас охватывает необычайная грусть. И я шепчу им вослед:

— О, молодость, молодость!

## О ЛЮБВИ К ДРУГУ

— Жили-были два Коли Иванова. Служили эти Коли Ивановы в одной части. Коля Иванов Первый был похуже, а Коля Иванов Второй — получше: и ростом выше, и в плечах шире, и волос у него вился. Зато Коля Иванов Первый был побойчее. И оттого переписывался он



с хорошей девушкой Машей Петровой из города Москвы с «Трехгорки». И вот после многих писем Маша Петрова присылает ему свою фоту. На фоте она оказалась писаной красавицей, совсем похожей на артистку Любовь Орлову.

И Коля Иванов Второй, робкий богатырь-красавец, затосковал: очень захотелось ему тоже переписываться. И тогда Коля Иванов Первый, вняв просьбе друга, написал Маше Петровой: дескать, есть ли у вас в наличии подружка, которая хочет переписываться с отличником боевой и политической подготовки? Оказалось, такая подружка была, и самое смешное, звали ее тоже Маша Петрова. То есть смешного тут ничего не было, потому что на Трехгорке было тридцать четыре Петровых Маш, а в воинской части шестьдесят семь Ивановых Коля. Вот так стали они переписываться — Иванов Первый и Иванов Второй с Петровыми Мариями. Причем Петрова Мария Вторая тоже прислала свою фоту, и тоже оказалась на ней краля невероятная, и тоже очень похожая на артистку Любовь Орлову.

Подходит время увольнения — и так втянулись боевые ребята в эту самую переписку, так им понравился в письмах душевный климат Петровых Марий, что начали они раздумывать: а не жениться ли? Тем более что у девушек была московская прописка.

Ну, высказали они это свое предложение письменно и тоже фоту приложили, где у боевого орудия снялись вдвоем.

Ответа долго ждать не пришлось, обе девушки были согласные, и фота им очень понравилась, только пожаловались — дескать, непонятно на фоте, где какой Иванов...

Тут как раз демобилизовались наши два друга и отправились за счастьем.

Поезд пришел по расписанию. Сошли с поезда два Коли Иванова, а к ним навстречу идут по перрону две незнакомые девушки. Одна — и фигуристая, и красивая, а другая худющая, серенькая — ну, мышь! Наши Коли только зенки выгаращили, а девушки со смехом подходят к удачным героям: не признали, что ль? (Потом выяснилось, что они обе вместо своих фот киноартистку Любовь Орлову всем высылали.)

Ну, наши Коли все поняли и только засмеялись.

И тут бойкий Коля Иванов Первый берет фигуристую под руку и ведет ее по платформе. Ну, а красавцу Иванову Второму — худющая да невидная и досталась.

Справили они приезд, выпили-закусили, ночьку провели с Петровыми Мариями, а утром — все по-честному: заявление в загс и зарегистрировали отношения.

Стали они жить-поживать, добра наживать, на заводе работать, ряд повышать. Только Коле Иванову Второму, красивому, нейдет. И вскоре по случайной беседе выясняет Иванов Второй, что женился совсем не на той Петровой, с которой вступил во взаимно дружескую переписку. Его-то Петрова была как раз фигуристая да красивая. Ну,

узнал, ну и что — дело, как говорится, прошлое. Но все ж стал сохнуть. Взглянет на свою — жить не хочется. Обидно!

И вот как-то подходит Первомай, любимый праздник. Флаги на улицах вешают, полосы чертят для демонстраций, и Коле Иванову Первому и Коле Иванову Второму выпадает честь пройти с транспарантом с надписью «Слава великому Сталину!». Ну, Первого Мая, оба при галстуках, взяли Коли Ивановы транспарант и понесли.

А ветер в тот день разгулялся сильнейший. Сто лет, говорят, такого ветра в Москве не было. Пока по улицам шли — все терпимо было. А как на Красную площадь вышли, ветер в транспарант ударил. Ну, мочи нет!

А на Мавзолее Сам стоит. И на Колей с транспарантом смотрит.

А ветер дует. И год на дворе — самый серьезный: тридцать восьмой год. Попробуй брось транспарант со «Славой Сталину» — тебя самого в такое место бросят!

А ветер крепчает. Тут шепчет Иванов Первый Второму Иванову:

— Ты что ж, падла, совсем не держишь? Я сейчас в штаны надеваю.

— Сам ты, падла, не держишь, и я по твоей милости в штаны уже давно надевал.

— Мало того, что ты на моей Машке женился, мне одни кости оставил... думаешь, я не знаю... ты еще транспарант не держишь! — продолжал собачиться Иванов Второй.

— Заткнись! — скрежетал зубами Иванов Первый. — То-то я гляжу, на мою Машку глаз кладешь. Держи транспарант, падла!

А ветер крепчает. И вот идут наши Коли Ивановы, плачут от напряжения, ненавидят друг друга, но транспарант не опускают, только зубами скрипят.

— Держи... держи... держи... /слово народное/.

— Сам держи... держи... /тоже — народное слово/.

Скрипят зубами, слезами обливаются, но держат!

И выдержали. Но уж как за Васюку Блаженного зашли, транспарант прислонили — и бросились дружка на дружку, и давай дубасить.

Потом они, конечно, помирились, но прежней дружбы у Ивановых Коль уже не было.

А время шло.

Иванову Первому везло все больше и больше: жена его каждый год то мальчика, то девочку приносит. Не оставлял он ее пустой — еще бы, такая фигуристая!

Скандал первомайский вроде забылся, но в домах друг у дружки они теперь не бывали, а все больше на улице встречались.

— Ну, как житуха?

— В порядке.

— А как твой комендант? — спрашивал, пряча глаза, Иванов Второй.

— Не жалуюсь. Команду «ложись» выполняет правильно — в шестой раз рожать поехала.

Потом родила его фигуристая Машка седьмого... Потом восьмую... Потом девятого... И вдруг — стоп! Девятый — и все!

И вот как-то на совещании ударников встречает Иванов Первый Иванова Второго. Разговорились они, но чувствует Второй, что чего-то мнется Первый Иванов. Мялся-мялся, а все-таки разговор завел...

— Детни у меня много. Девять.

— Много, — сказал выжидающе Иванов Второй.

— А баба моя все цветет. Девять нарожала — а глаз не оторвешь. Помолчали. Надо было спросить, и Второй спросил:

— А чего ж десятого не родишь?

— Надо бы, — вздохнул Первый и добавил: — За десять детей «Мать-героиню» дают и деньгами добавляют каждый месяц.

— Ну и сделай.

— Не выходит! К врачу ходили, говорит: в вас все дело — во мне то есть... Случилось со мной что-то. Девять вышло, а десятый...

Прошло еще немного времени, и вдруг зовет Первый Иванов Второго к себе домой.

Пришел тот к нему в дом, впервые после майских. Машка его румяная — годы над ней не властные: ходит, задом вертит, фигуристая.

Ну, поставил Иванов Первый бутылку. Выпили. Тогда Иванов Первый сказал проникновенно:

— Коля, дружок твой в беде. Выручай.

Иванов Второй только этого и ждал — он ведь давно все понял.

— Согласный.

— Еще б не согласный. Такая фигуристая, — только вздохнул Первый.

Ну, закончили они бутылку. Первый Иванов ушел как бы погулять. Ну, Машка его, естественно, в курсе была. И, не откладывая дела, начали Второй Иванов и Маша Петрова добывать эту самую медаль. Оба статные, красивые — так что все получилось у них.

И вскоре приходит Иванов Первый ко Второму, веселый, довольный, бутылку на радостях приносит.

Проходит девять месяцев положенных, и рождает Мария. И пуще прежнего хорошеет.

А Иванов Второй было снова к ней знакомой тропкой. Но Мария — женщина строгая, встретила его с медалью на высокой груди и дала ему от ворот поворот. «Я, — говорит, — за случайными связями не гонюсь».

А любовь у Иванова Второго все крепчает. Тоскует. Пить начал. Кричать начал: «Это что ж за дела? У Машки медаль на груди, а Колька денюгу лишнюю имеет, а мне, значит, за все про все бутылку?»

И подал он тогда в суд с обиды, и всю правду описал в заявлении: «Ребенок, дескать, мой, делал его за бутылку».

Ну, суд во всем разобрался и принял такое справедливое решение: каждый месяц удерживать с Иванова Второго четверть зарплаты на алименты. Вот так-то!

Прошло еще время, много воды утекло, и постарели наши Николай Ивановы, седые стали. И вот как-то Иванов Первый и говорит Второму Иванову:

— Я,— говорит,— зла на тебя не держу, жизнь мы свою уже прожили, умирать скоро. Да и Машка твоя теперь тоже стала, как моя,— толстая, фигуристая, жирная старуха.

И помирились. И снова неразлучные стали. Ну, а как помирать пришлось — опять все одному везет, такова жизнь. Первым помер Коля Иванов Второй, красивый и невезучий. Завод ему хорошее место на кладбище выделил, оградку поставил, памятник.

Пришла очередь и Первого Коли — тоже без мук помер, и тоже в одночасье. А так как мест к тому времени на центральном кладбище уже не было, и был он друг неразлучный Второго Иванова, то схоронили его за той же оградкой. И надпись сделали такую же: «Иванов Николай Иванович». Только года другие поставили.

Прошло еще время. Машка — некрасивая, да бойкая — выйди замуж второй раз. И стал муж ее болеть. А баба она была хозяйственная, предусмотрительная. И говорит она подруге своей, Машке Красивой:

— А ну убирай своего с нашего места. Я там, может, моего нового захороню.

— Да ты что, как же я заберу?

— Как положила, так забирай. Думаешь, я забыла, сколько вы моему крови испортили? Думаешь, я не знаю, через кого он здоровье потерял да умер?

И так как Мария Первая своего не забирала, то Мария Вторая обратилась в суд.

И судья опять справедливо сказал Мариям:

— Стыдно, гражданки! Лежат вместе два хороших товарища, а вы их покой нарушаете. Пусть себе лежат. Пусть отдыхают.

И разошлись молча подруги в разные стороны, и с той поры до смерти словом не перемолвились.

Так Любовь много раз победила хорошую Дружбу.

## ЕЩЕ РАЗ О ЛЮБВИ К ДРУГУ

— В шестидесятые годы, я настаиваю — в шестидесятые, жил-был руководитель второго ранга и руководил он чем-то в РСФСР. У него тоже была самая распространенная фамилия — Козлов. И когда произносили его фамилию, всегда добавляли: «Только это не тот Козлов,

а это — из РСФСР». Потому что всегда имелся «тот Козлов», руководитель первого ранга.

Так он жил, Козлов из РСФСР, не тужил и добра наживал. Поменьку разваливал он вверенные ему ведомства, потихоньку переходил из одного в другое, пока не дожил до скандала прямо-таки международного.

Поручили ему послать в подарок развивающейся африканской стране быков-производителей. Вроде все ясно: погрузили быков на корабли — и поехали наши быки, все в медалях, здоровенные, оплодотворять ихних негритянских коров. Ехали они через моря-океаны и приехали. Вывели красавцев быков на берег, организовали им теплую встречу, сыграли музыку — все чин чинарем. Но только оплодотворять этих самых негритянских коров наши быки не захотели. Стоят как мертвые — не хотят оплодотворять, и все тут! Тогда наш Козлов передал по телексу такой приказ — брать быков измором. Вскоре выяснилось, что слова «взять измором» оказались буквально пророческими. Мало того, что наши быки дружественных коров не захотели, они и еду местную коровью жрать наотрез отказались.

Сообщили все это опять по телексу Козлову.

Козлов потребовал представить ему соответствующую бумагу. А пока суть да дело, пихать быкам еду насильно — пущай, дескать, акклиматизируются...

Бумагу составили, обсудили, и через год Козлов подписал долгосрочное соглашение о поставках сена для племенных наших быков.

И вот поплыло сено через моря-океаны. Когда доплыло, никаких быков уже не было: одни медали остались. А сено все плыло — соглашение Козлов выполнял, а оно долгосрочное было... И стружали сено на берег. И выросли на берегу огромные горы. Но Африка — страна жаркая, так что завелись в этих сенных горах ужасающие мухи размерами с голубей. И жалили, сволочи, так, что берег стал небезопасен. И вскоре перестали приставать туда иностранные корабли. Короче, в год наш Козлов подорвал своим сеном целую экономику дружественной державы.

Другой бы за это дело головы не сносил. Но вот тут-то и начинается наша история о любви к другу. Потому что у нашего Козлова был друг. Это уже был настоящий руководитель, самого настоящего ранга, и тоже с очень распространенной фамилией: допустим, Попов. Но он уже был единственный Попов — «тот самый Попов».

У этого самого Попова был комплекс: дескать, все подчиненные считают его идиотом. У любого человека, который заходил к нему в кабинет, он сразу читал в глазах обращенное к себе: «Ну и болван!» Единственный человек, в очках которого был восторг, только восторг, и еще раз восторг, и был наш Козлов. Да, глуп был Козлов, но зато добр и без задних мыслей. Короче, Попов любил Козлова, а Козлов любил Попова. Но так как Козлов уже развалил кучу ведомств, решил Попов

отправить его туда, где разваливай не разваливай, а убытку государству, слава богу, никакого, — на культуру.

Так стал наш Козлов заведовать искусством в РСФСР. Человек, как мы уже отмечали, он был искренний: что на уме, то и на языке. Любил и, главное, умел распекать. Так, главному редактору киностудии он сразу сказал очень искренне: «Вы, Илья Аверьянович, — пыль. Я дунул — и вас нет!» Ну, а директора киностудии, человека грузного, он распек совсем уже по-библейски: «Я вас, — говорит, — на кол посажу. И поверну». Короче, руководил культурой он решительно, сам во все вникал, фильмы смотрел сам, ко всеобщему ужасу...

Однажды ему показали кинофильм, снятый по оперетте. Фильм Козлову понравился, но сделал он только одно замечание: «Что это у вас там товарищи то говорят, то поют? Вы уж одно им что-нибудь поручите!..» И вырезали ведь, вырезали пение из оперетты!

Потом как-то приехал он в мастерскую к знаменитому скульптору В. — смотреть проект Мемориала.

В центре Мемориала — Скорбящая мать. Раскрыв рот в беззвучном вопле, вытянув к небу руки, стояла она над павшим воином. Скульптор очень гордился фигурой матери, он знал ей цену. Мемориал Козлову очень понравился, а вот фигура матери его сразу насторожила.

— Добре, добре... — сказал Козлов, обходя Мемориал. — Все добре.. Но чего это она у вас так орет?

— Она зовет Луначарского! — ответил скульптор.

— Не понял? — сказал Козлов. Он действительно не понял.

Скульптор смолчал — и рот Матери закрыл.

Короче, жил Козлов и не тужил, пока не случилась с ним история.

Он должен был произнести речь на открытии некоего облдрамтеатра. Неприятности начались уже на городском вокзале: его не встретили. А Козлов к тому времени совершенно разучился сам ходить по улицам. Потому что он остался в поезде ждать встречающих. Так и загнали его в поезде на запасной путь... Но потом все-таки приехала за ним долгожданная черная машина, и нашли его на запасных путях. А дальше все как по маслу! Привезли в театр — и сразу в президиум. Но тут выясняется, что он забыл речь. Оставил ее, проклятую, в поезде, на запасном пути, с огорчения.

И вот вызывают его на трибуну.

Первые слова дались Козлову легко: «Дорогие товарищи». Но третье слово отсутствовало. Он уже в шестой раз произнес «Дорогие товарищи». В зале громко смеялись, а руководитель области мрачно сказал с места: «Ну, а дальше-то будет?»

И тут со страха Козлов забыл еще одно слово. Осталось только «Дорогие». Он вытягивал руки с трибуны и все произносил: «Дорогие... дорогие... дорогие...» Так и пришлось его снять с трибуны. Но уходить он не хотел, а все кричал: «Дорогие!»

Некоторое время он лежал в больнице, и товарищ Попов сказал: — Не надо смеяться. Со всяким может случиться. Кроме того, что он сказал там плохого: «Дорогие». А разве они не дорогие, наши люди?

## ОПЯТЬ О ЛЮБВИ К ДРУГУ

— Мы с ним дружили. Мы подружились в лихое время. Мы напали тогда на почту: революции нужны были деньги, и мы экспроприировали эти деньги в пользу революции. И вот тогда-то Кобе и повредили руку. И оттого потом, на всех картинах, на тысячах тысяч картин Коба будет изображен с вечной своей трубкой в согнутой руке. (В ту страшную ночь, когда уродовали ему руку, я не знал, что стою у истоков лучших произведений. Да, для меня всегда он был Коба. Мой друг Коба. Мой соплеменник Коба. А я для него был Гурам, Гурам-байрам, как шутливо прозвал меня Коба. В те молодые наши годы Коба очень любил шутить. И петь. Пел он прекрасно, но шутил порой, прямо скажу, незамысловато: «дураки-мураки», «баня-маня», и сам же от этих шуток покатывался, просто умирал от смеха! Тогда Коба был молод, и сила ходила в его теле, и тесно ему было от этой силы, как от бремени.

Но революцию не делают профессора в белянких перчатках. Профессора пишут и размышляют, спорят и болтают. А революция — это великое и смелое дело. Надо порой уметь заманить врага в ловушку, прикинувшись другом, надо уметь иногда быть глухим к стонам и, наконец, надо и убивать!.. Если этого требует революция. Коба умел. Лучше всех нас. И я любил его. Потому что понимал великую ярость моего коварного и беспощадного друга — барса революции.

...Много лет я делил с Кобой одну постель, один ломоть хлеба и одну ссылку. И вот разделил и общую радость — она победила, наша революция. Если бы кто-нибудь наметкнул мне тогда, кем станет мой не очень грамотный друг, столь дурно говоривший по-русски!

А потом... Я не буду рассказывать то, что всем хорошо известно: как начали исчезать все эти профессора-болтуны, враги Кобы. Как потом начали исчезать и мы, его друзья, соплеменники-грузины. Нет, тогда мы не просто говорили ему правду. В лицо орали. Орали! И исчезали... Впрочем, вру: другие орали — и исчезали. А я молчал. Я жил тогда в Тбилиси, руководил искусством, дружил с поэтами. И молчал. Помню, забрали Тициана Табидзе... Взяли других замечательных поэтов. Из моих знакомых остался, пожалуй, только ничтожный поэт Дато. Ах, как ему было стыдно: всех великих забрали, а он остался. Неужели он был такой невеликий? Помню, как Дато надеялся, что его попросту забили, как ждал каждую ночь. Но его все не брали. И тогда он не выдержал: надел черкеску, газыри, сел на коня и выехал на площадь перед неким зданием. Было утро, он гарцевал один по пустой площади. Наконец

открылось окно, высунулась голова, и презрительно крикнула: «Ступай домой, Дато! Ты все равно ненастоящий поэт!»

А я молчал. Я затаился и молчал. Клянусь вам, я смелый человек, и это может подтвердить революция. Но я молчал. Я, который ничего не боялся, боялся только одного — Кобу. Ибо я знал его. И все-таки молчание не помогло.

В тюрьме я буйствовал, требовал свидания с Кобой. Я ничего не подписывал, я отказался от пищи. День и ночь я твердил: соедините меня по телефону с Иосифом Виссарионовичем. Я угрожал, я твердил о врагах революции, о нашей с ним дружбе, о моей личной преданности великому Иосифу Виссарионовичу. Боже, что я пережил. Но держался. Наконец, следовательно все это надоело, и он вдруг сказал тихо-тихо, сквозь зубы: «Вы взрослый, опытный человек. Неужели вы думаете, что личных друзей Самого можно арестовать без санкции Самого?» И засмеялся. И я засмеялся тоже. И все подписал. Я вернулся в свою камеру и хохотал до колик. Как жаждет человек утешительного самообмана, с какой готовностью он лишает себя рассудка! Только бы оставалась надежда. Как же я, знавший его долгие годы, мог подумать...

Я получил десять лет по обвинению в шпионаже в пользу... Японии. Это было последнее шутовское «прощай» Кобы своему старому другу Гураму. Что делать, теперь он был бог и избавлялся от нас, свидетелей его прежнего ничтожества. Он не хотел больше видеть нас рядом, своих друзей, своих верных друзей, равных ему когда-то.

Я просидел четыре года, я стал седым и беззубым, но все это выдержал: у меня была школа царской каторги. Единственное, что меня мучило, — бедствия семьи. Я знал, что моя жена скиталась по углам, что ее гнали, как зачумленную, с малолетней дочкой на руках. В лишениях росла моя дочь, но мать всегда рассказывала ей о моей преданности партии, революции и лично товарищу Сталину. И моя дочь сама выучилась грамоте, чтобы написать письма Иосифу Виссарионовичу. Каждый день шестилетняя дочка отправлялась на почту и отсылала свое письмо. Она писала, что отец ее оклеветан, и просила наказать врагов, оклеветавших ее отца. И так изо дня в день — четыре года!

Через четыре года произошло фантастическое: я был освобожден. И опять чудо: мне разрешили поселиться в Москве.

Теперь я работал жалким корректором в издательстве. Но я был счастлив, потому что вновь видел рядом свою жену и красавицу дочь. Потому что только после лагерей можно почувствовать, какое это счастье — жизнь и воля. Как я наслаждался возможностью одному ходить по улицам, есть много хлеба, пить вино и видеть прекрасные лица близких.

И вот однажды в мою рабочую комнатенку вбежал директор издательства: «Вас к телефону! Немедленно!» Мы неслись по коридорам; он — впереди, я — за ним. Представляете, что передумал, пока мы бежали.



В кабинете директора лежала снятая трубка. Он поднял ее очень почтительно, он протянул мне трубку, как драгоценность.

— Сейчас с вами будут говорить, — сказали в трубке.

— Это ты, Гурам? — спросил знакомый голос.

— Это я. — Голос мой дрожал. И после мучительной паузы, стоившей мне полжизни... потому что я не знал, как его назвать ...о, как я боялся ошибиться. — Это я ...Иосиф Виссарионович... Здравствуйте.

— Здравствуй, — мягко продолжил голос, — ты случайно не свободен сейчас?

— Свободен... конечно, свободен...

— Я рад, что ты свободен... Тогда приезжай ко мне.

— А как, Иосиф Виссарионович? — глупо спросил я.

— Тебе все объяснят, — ласково засмеялся голос. — Все объяснят тебе, Гурам-байрам.

В трубке раздалась гудки. Тотчас раскрылась дверь, и в кабинет вошел очень вежливый человек в военной форме.

Коба принял меня в огромном кабинете. Он стоял с трубкой в негнущейся руке у стола, заваленного бумагами. Я остановился в дверях, поздоровался.

Он посмотрел на меня долгим взглядом и сказал печально:

— А ты совсем стал седой, Гурам!

— Годы, Иосиф Виссарионович.

Он посмотрел на меня, и вдруг глаза его вспыхнули. Он яростно закричал:

— С каких это пор ты со мною на «вы»?

От ужаса я потерял дар речи. Я знал: одно неверное слово — и я снова буду там! И снова бедствия несчастной семьи!

Я поднял глаза и наткнулся на его бешеный, ужасный взгляд. Это был тот самый взгляд... когда мы ночью скакали к почте. Да, я узнал его: это был он, мой старый друг Коба. И воспоминания юности захлестнули меня, и я с любовью, с печальной непритворной любовью посмотрел на него. И он это почувствовал. Взгляд его стал ласков, он обнял меня. Я понял: первое испытание я выдержал.

— Никогда не говори мне «вы», никогда! Слышишь? Сколько нас осталось?

Сколько нас осталось, друзей-соплеменников? Нас, любивших друг друга, нас, готовых умереть друг за друга, грузинских удалых парней? Совсем не осталось — одних он посадил, других расстрелял, третьих заставил покончить с собой... Серго, Ладо... боже, хватит!

Он смотрел внимательно, глаза в глаза. Я отсидел четыре года, и я с отличием окончил его университеты. В моих глазах он не прочел ничего. Там была только любовь и преданность к Вождю и Другу. Я выдержал второе испытание.

А потом он позвал меня к столу и молча указал на книгу. Это был русский перевод «Витязя в тигровой шкуре». Он запомнил мою лю-

бовь к этой поэме — когда-то в Туруханской ссылке я читал ему ее наизусть, а он, зевая, слушал.

Теперь он взял книгу и, ласково держа ее в корявых пальцах, задал мне несколько наивных школьных вопросов. Я ответил. Он поблагодарил и что-то записал прямо на полях книги. Потом пояснил: «Меня здесь попросили товарищи отредактировать перевод «Витязя», и я, зная твою любовь к поэме (его дьявольская память), решил с тобой посоветоваться».

Он действительно редактировал. Он, управлявший гигантской страной, хотел еще редактировать «Витязя». Он, учившийся в семинарии, редактировал перевод поэмы, которую вряд ли читал до конца прежде. Редактировал на языке, на котором писал с ошибками. Но он верил, что может сделать и это. А может быть, это было опять испытание? Он внимательно смотрел мне в глаза. Но, клянусь, там было написано только: «Величайший гений всех времен и народов редактирует перевод поэмы, рожденной на его родине».

Он был доволен. Мы простились.

— Послушай, — сказал он, когда я уже был в дверях. — Сколько лет мы с тобой не виделись? Нехорошо, Гурам. Ты должен позвать меня в гости, посидим, как прежде, поговорим, споем.

— Но, Коба, я живу довольно тесно... (После возвращения меня поселили в громадной коммуналке: двенадцать соседей, и один туалет, и одна кухня. Я жил в крохотной комнатенке с женой и дочерью.)

— Как тебе не стыдно? Помнишь, как мы жили до революции? Разве это мешало нам веселиться? Дом друга — что может быть прекрасней?

— Ты прав. Я буду рад тебя видеть, Коба.

— Значит, завтра жди меня к себе. Если не возражаешь, я привезу с собой кого-нибудь из наших.

И вот здесь я вздрогнул — «наших» никого уже тогда не было. Он внимательно смотрел на меня и, лишь встретив мой ясный взгляд, прибавил после паузы:

— Ну, Лаврентия...

На моем лице была только радость. А потом я шел домой и ругал последними словами ублюдка Лаврентия, грязного прилудного пса, трусливого убийцу, который никогда не был «нашим», которого мы даже не знали в дни революции. Палац, который явился после. Я орал в ночь все грузинские ругательства, все русские лагерные ругательства. И плакал.

На следующий день с утра в нашей квартире появились молодые люди в одинаковых костюмах и замшевых гетрах. Все мои двенадцать соседей были загнаны в комнаты и не могли, несчастные, даже выйти в туалет. Квартира была обследована, стены простуканы, из коридора убраны все сундуки, все тазы, велосипеды, вся обувь, все пальто. Коридор стал девственно чист, а молодые люди заняли свои места на подсту-

пах к ванной, кухне, на повороте коридора к нашей комнате. Они гулко перекрикивались между собой. Переулок и весь дом были оцеплены, все те же молодые люди разгуливали по этажам, а с шести часов движение жильцов по нашей лестнице окончательно прекратилось. Наконец, в семь часов подъехали машины: сначала две, потом три, а потом, как-то внезапно, раздался звонок в нашем пустом коридоре.

...Мы сидели в нашей тесной комнатухе, пили прекрасное грузинское вино, которое принес он, и пели наши грузинские песни. Рядом сидела моя жена, восторженно глядевшая на Кобу. Она была много моложе меня, она не помнила революцию. Для нее он был бог, спустившийся прямо с небес в нашу жалкую лачугу.

Коба посадил мою дочь на колени, и она сидела, не смея шевельнуться. И он мягко и нежно выкручивал ей ухо своими короткими и толстыми пальцами. Это была его любимая ласка. Мы вспомнили с ним о каторге и ссылке (царской), вспомнили анекдоты (прежние). И наши друзья, тех редких друзей, которые умерли своей смертью.

А потом опять пели. Как он хорошо пел! И вообще у Кобы всегда был поразительный слух — он слышал, о чем шептались даже в другой комнате. И голос у него был, небольшой, но голос.

Он ласково глядел на меня, и я любил его. Всем сердцем. Я любил свою юность, наши мечты, нашу маленькую солнечную родину. Милый мой друг Коба.

Он внимательно следил, чтобы я не пропускал тостов, чтобы я опорожнял вовремя стакан за стаканом. Но от вина моя преданная любовь только возрастала. Здесь он ошибся. Только возрастала моя любовь к нему. Весь вечер.

И вот тогда, продолжая мягко выворачивать ушко моей дочери, он вдруг пробормотал как-то невзначай:

— Так это она и есть?

И жадно устался на меня... «Значит, он читал ее письма? Все эти годы, день за днем он знал, что ему пишет она, моя несчастная, полуголодная дочь?» Я смотрел на него в бешенстве. Я не хотел скрывать. Да было и поздно скрывать. И он, усмехаясь, глядел на меня. И тотчас бешеный взгляд грузина-отца исчез. И на Кобу смотрели жалкие, тусклые, умоляющие глаза.

Потом они ушли. Я не спал ночь, ожидая конца. Я знал: это случится на рассвете.

Но наступил рассвет, и ничего не случилось. В конце недели я был восстановлен на прежней работе, в прежней высокой должности.

Сейчас, оглядываясь назад, я понял, как был неправ в ту страшную ночь. Потому что только в момент, когда он увидел, как секундное мое бешенство сменилось угодливым страхом, — только тогда я выдержал испытание. Ибо только тогда Коба окончательно понял: нет больше блестящего храброго Гурама. Но есть трусливый раб, пес, готовый все стер-

петь и вилять хвостом. Да, я с честью выдержал его испытание! Испытание друга моего Кобы!

А потом была великая война и Великая Победа.

Все эти годы я был с Кобой на «ты». Коба и Гурам. Но каждый раз, когда я произносил это «ты», — смертный страх сжимал сердце. И он видел это, и взгляд его становился ласков. Он вспоминал нашу юность, наше братство. И, видя мой страх, постигал величие и длину своего пути.

В пятьдесят первом году я встретился с ним в последний раз.

После какого-то заседания он взял меня с собой на дачу. Был душный июльский вечер, Коба был в отличном настроении. Мы отужинали, посмотрели трофейный ковбойский фильм, а потом его любимый фильм — кинокомедию «Волга-Волга». Это была одна из его загадок. Понятно, почему он любил ковбойские фильмы с погонями и убийствами. Но отчего он бесцельно смотрел эту глупую «Волгу-Волгу»? Говорили, что он влюблен в киноактрису Любовь Орлову. Но это было бы простое человеческое объяснение. Человеческие объяснения для Кобы не подходили.

Потом мы гуляли по аллеям сада, Коба шел чуть впереди, тихонечко напевая свою любимую «Сулико». А я за ним.

«Я могилу милой искал, но ее найти нелегко... Долго я томился и страдал...» — напевал Коба.

Я уже готовился вступить в песню и тихонечко подпевать — Коба это очень любил.

«Долго я томился и страдал...» — Коба вдруг прервал песню. И в тишине я явственно услышал его слова... даже не слова, а бормотание:

— Бедный... бедный... бедный Серго...

Я облился потом. А он продолжал петь, заканчивая куплет: «Ты ли здесь, моя Сулико?»

— Ти-ра-ри-ра-ра-ра, — продолжал задумчиво напевать Коба без слов, — ти-ра-ри-ра-ра-ра... И опять послышалось его бормотание. — Бедный... бедный Ладос...

И опять он запел все сначала: «Я могилу милой искал...» Он остановился, и вновь бормотание: «Бедный... бедный...»

Да, он бормотал имена наших товарищей, наших прекрасных друзей, наших великих друзей, — всех, кого он погубил. Долго он пел «Сулико». По многу раз пришлось ему повторять одни и те же куплеты, чтобы назвать их всех. Потому что он убил больше, чем любая чума.

А я все шел за ним, онемев от ужаса.

— Долго я томился и страдал, где же ты, моя Сулико, — пел Коба. — Бедный... бедный Серго...

И вдруг он обернулся ко мне:

— Нету, нету Серго! Нету нашего Серго!

В его глазах стояли слезы, клянусь, слезы! Я не выдержал, я тоже заплакал и бросился ему на грудь.

Мгновенно лицо его вспыхнуло яростью. Толстый страшный нос и пылающие глаза приблизились вплотную к моему лицу. И он заорал, отталкивая меня:

— Нету Серго! Нету Ладо! Никого вас нету! Все вы хотели убить Кобу! Не вышло, б... дети! Он сам вас убил! — И ринулся по аллее, ударив сапогом не успевшего отскочить в кусты охранника.

И опять я не спал ночь. И наступил трусливый рассвет. И следующую ночь я не спал. Я ждал.

Но ничего не случилось. Ни в ту ночь, ни в последующие стыдные мои ночи. Просто больше я его никогда не видел. Друг Коба перестал звать к себе своего старого друга Гурама. И все.

Но до Страшного суда я не забуду, как он шагал по аллее, пел нашу песню и бормотал наши имена. И как он плакал. Ибо грузины умеют любить своих друзей... несмотря ни на что!

«Легче перенести смерть брата, чем смерть друга». Такая пословица.

## О ЛЮБВИ К МАТЕМАТИКЕ

Я часто думаю: кто создал эту тетрадь? Была ли она написана с предсмертных слов поэта его другом, художником Митуричем, в доме которого Хлебников окончил свои дни? Или женой Митурича? И, наконец, кто вставил в эту тетрадь подлинные письма поэта-символиста Городецкого и ответы наркома Луначарского? И кто соединил их там с «Досками судьбы» самого Хлебникова? Я этого не знаю, да никогда и не пытался узнать — я слишком ценю тайну. Одно, повторяю, ясно — тетрадь эта создавалась в самые последние дни таинственнейшего из поэтов Велимира Хлебникова. Как странно начинал Хлебников. Вождь русского авангарда, поэт поэтов, в юности хотел стать... математиком. Но позвала поэзия — и заброшена математика, он бредит символистами, а заодно — поэтом Городецким, одним из кумиров начала века. Чтобы потом отринуть всех их и гордо провозгласить себя Мессией, поэтом будущего, Председателем земного шара. Ах, с какой радостью он встретил революцию! Он крестился в огненной купели свободы. Идея всемирного братства народов заставила его изобретать всемирный язык. Он испытывал корни слов, исследовал созвучия, рождая горы странных стихов. Странных, потому что поэзия в них проросла математикой. В годы гражданской войны он скитался по стране, счастливый безытенностью, ожидая всемирного крушения собственности. Он жил как Диоген, и все его имущество в эти годы — мешок со стихами. С этим мешком он колесил в страшных тифозных поездах. Сколько раз во время набега банд, в горящих поездах исчезал этот мешок с великими рифмами. Но он доставал новый мешок — и вновь наполнял стихами. Другой мешок он носил вместо одежды... мешок с дырками — для рук и головы.

В этом туалете он объявился в 20 году на улицах раскаленного Баку, потом ушел в Иран вместе с солдатами. Именно тогда его прозвали «Урус-Дервиш» (русский пророк). И тогда, в Баку, в душе поэта произошло странное совокупление поэзии и математики. От этого противостоического объятия были рождены Хлебниковым «Законы времени». И сухая математика свершила с ним то, что не смогла сделать даже поэзия: он стал до конца безумным. Теперь им властвовал Дионис. Он поверил, что нашел узду для Времени. Он готовился проникнуть в Космос. Он бродил по южному городу, весь во власти формул. Он чертил их повсюду: на земле, на пыльных мостовых, на обрывках декретов. И тогда же внезапно он исчез из Баку. В декабре неожиданно он объявился в Москве. Его вид был страшен. «Я встретил его в вагоне для эпилептиков, надорванного и оборванного» (Маяковский). Всю зиму в Москве, в больнице, поэт объяснял в любви к математике — он записывал открытые им тайны. Потом собрал свои записи в очередной мешок и ушел пешком в Новгородчину, к другу своему, художнику Митуричу. Здесь, в деревне Санталово, летом 22 года он умер.

...Это вступление, безвкусное, выпренное, уж очень затянулось. Начали даже кашлять, но что делать: сочинители всегда особенно врут — в начале и в конце. Голос оценил обстановку и приступил к чтению тетради.

«— Я, Урус-Дервиш, вижу: воины Тамерлана идут в поход. Они несут камни, у каждого камень, зажаты в руке. Воины с узкими глазами, в жаровнях темных ресниц. Я вижу: беспощадность равнины. Идут тысячи тысяч, и каждый бросает свой камень в общую гряду. Стук камней... И над гибельной степью — поднимается каменный ужас.

А потом — битвы, и волки, вопящие кровью, и нагой строй трупов.

А потом воины возвращаются из похода. И каждый забирает свой камень.

То, что остается, и есть памятник погибшим. Овеществленное вычитание. Посреди степи вырос памятник числу. Числу мертвецов.

...Мамонт врос в землю. Согнутые бивни под упавшими на землю ушами. В космато-рыжих плащах спит мамонт.

Но было известно число, и всегда предопределен был день гибели тех, о ком осталась каменная гряда на столе степи. И смерть мамонта тоже была заранее взвешена на весах троек.

Запомним: цифра «три» соединяет обратные события: победу и разгром, начало и конец, преступление и возмездие.

Я, Урус-Дервиш, вижу: море Времени выносит тухлых собак и мертвых сомов.

Я обхожу и внимательно разглядываю выброшенную падаль истории. Я сравниваю, я исчисляю. Я — часовщик Времени.

Все эти чистые законы Времени найдены были мной в Баку в 1920 году...»

1 июня 1922 года от художника П. Митурича товарищу Сергею Городецкому:

«Сообщаю Вам следующее: Виктор Владимирович Хлебников спуска неделю по прибытии в деревню Санталово Новгородской губернии тяжело захворал: паралич ног. Помещен мною в ближайшую больницу города Крестцы. Необходима скромная, но скорая помощь, ибо больница не может лечить его без немедленной оплаты за уход и содержание больного (больница переведена на самоснабжение) и второе — не располагает медицинскими средствами для лечения. Лично мы с женой не имеем средств оплатить эти расходы, и поэту грозит остаться без необходимой медицинской помощи. По мнению врача, возможно его еще поставить на ноги, но для этого нужно следующее: 1) 50 г йодистого кальция, 2) мягкий мужской катетер (для спуска мочи), 3) 150—200 довоенных рублей. Прошу Вас устроить оповещение общества по средствам печати о постигшем недуге Велимира Хлебникова и о том, что он не имеет абсолютно никаких средств к существованию. Такое положение материальной необеспеченности и непоколебимой сосредоточенности на своем труде и привело его к настоящему положению. До последнего часа он приводил в окончательный порядок свой многолетний научный труд — исследование Времени «Доски Судьбы»...

Пути сообщения таковы: Петербургское шоссе, город Крестцы или по Николаевской ж. д. до станции Боровенка и на лошадях по Большому тракту 40 верст до города Крестцы (на полпути) — деревня Санталово, место нашего пребывания. Для телеграмм: Крестцы Новгородской. П. Митурич. Для писем: Крестцы Новгородской, деревня Санталово, Наталья Константиновна Митурич».

...«И епископ вышел навстречу Атилле и поклонился всаднику. И встал на колени, и простер к нему руки: «Славлю тебя, Атилла, ибо ты — бич божий».

Гибельные глаза Атиллы. Круглое брюшко жучка, толстые руки епископа.

Но торжество Атиллы и падение его, унижение церкви и возвышение ее — все уже было записано заранее в странных рядах цифр.

Я тот, кого вы ждали. Я, нашедший ключ к часам человеческим.

Это было в Баку, где огонь-оборотень низвергается с небес и выходит из земли — ластится и покорствуется, пляшет, как ручной паяц, огонь — божья сила — жаждущий, чтобы его приручили.

И я пошел поклониться этим вечным огням, и был застигнут ночью. Я пал на траву — и лежал на остывающей земле, один в сумерках. В паузах норах уже вставал страх ночи, и среди шорохов травы — я лежал.

И тогда я бесстрашно взглянул на светила. Я знал: железный пояс цифр сковал их движение и запряг в одну упряжку с людской судьбой. Время — клетка из цифр.

Была южная весна, и, лежа на спине и глядя на звезды, я вспоминал весну у нас на Севере. В огромную бочку кладут узду и стремяна и ла-

дят ее к лошадям — и коняги скачут. И громыхает ржавое железо в бочке, чтобы вернуть первозданный лунный блеск свой.

Так покорные клячи нашего Севера тянут за собой бочки со своими же цепями.

И я восстал посреди ночи и кликнул в ее ужас: «Если открытые мною законы времени не привыкнут среди людей — я буду учить им порабощенных коней».

Товарищу Городецкому С. М., Красная площадь, I, от

Наркома по просвещению.

4—7. 1922 № 7905

«Дорогой товарищ Городецкий! Я давно уже знаю о болезни Велимира Хлебникова. Первой сообщила мне об этом тов. Рита Райт. Я тотчас же ответил, чтобы она пришла ко мне для переговоров о том, что конкретно можно для Хлебникова сделать. Телеграфировать в Крестецкий Исполком я, конечно, с удовольствием могу, но думаю, что это будет довольно-таки бесполезно. Очень хорошо, что вы посылаете туда деньги, но как сможет дать Хлебникову деньги наркомат по просвещению — я не представляю себе. Дело в том, что совсем недавно РКИ предупредил нас, что за все случаи выдачи пособия ввиду болезни он впредь, ввиду неоднократных нарушений его указаний, будет предавать суду лиц, которые делают такие распоряжения. Вы ведь знаете, что у нас вся помощь больным сосредоточена в Наркомсобесе и Наркомздраве. Легче, вероятно, было бы поместить Хлебникова в какой-нибудь санаторий за счет НКП, так как некоторое количество мест в санаториях, оплачиваемое из смет НКП, существует. Правда, я не знаю, имеются ли свободные места. Надеюсь видеть у себя Райт или Вас, чтобы можно было бы сейчас стелефонироваться с соответствующими органами НКП. Представлять себе дело так, что у меня есть какая-то касса, в которую мне стоит только опустить руку, чтобы оттуда взять сколько угодно миллионов для помощи тому или иному заслуженному лицу, абсолютно неверно. Это дело сложное, требующее постановления Президиума, Коллегии, и притом могущее быть произведено только в определенных формах: помещение в больницу, оплата дороги и т. д. ...»

«...Я Урус-Дервиш, я тот, кого вы ждали. Я часовщик человечества. Я нашел ключ к часам человеческим. Я познал законы провидения будущего».

Я понял: не зная законы времени, роптать на время — как бичевать море за то, что оно разбило суда.

Слушайте мой закон: время построено на ступенях двоек и троек. Этих наименьших четных и нечетных цифр. Вот она, древняя славянская вера в чет и нечет. Всякое умножение на самое себя двоек и троек есть природа времени.

В мышеловке моего мозга дрожит рок времени.

Вот они, похожие на деревья уравнения времени. Твердый ствол



в основании двоек и троек и гибкие, вечно меняющиеся, живущие сложной жизнью — ветви-степени.

Громоздятся горы двоек и троек, на которых сидит хищная птица степени.

Из озера времени выступает Град-Китеж. То, о чем твердили древние вероучения, то, о чем грезили пророки — возмездие, — оказалось простой жесткой силой уравниений. В этих уравниениях заперто: «Мне отмщение аз воздам» — грозный и не прощающий Иегова, законы Корана и Моисея застыли в уравниениях. Как отдыхает перо. Никаких слов не надо: поступок — наказание, дело — смерть дела, расширение — сжатие, преступление — возмездие. В первой точке умирает жертва, а через  $3^H$  — убийца. Если в одной точке военный успех, то через  $3^H + 3^H$  суток будет остановка этого успеха, День отпора.

Все  $3^H$  дней бьет плетью и хлещет бич рока и слышится: «Гей! Вперед!» Но тайно уже готовится вопль: «Тпру! Довольно». Краской крови, железа и смерти расцвечены  $3^H + 3^H$ .

|  |                   |  |
|--|-------------------|--|
| 24.08.410 Аларих разграбил Рим, столицу Запада, волна на Запад. Ржут кони. | $3^{11} + 3^{11}$ | 26.08.1380 Куликовская битва, движение Востока на Запад остановлено. Тпру! |
| 26.10.1581 Ермак завоевал Сибирь. Русская волна на Восток.                 | $3^{10} + 3^{10}$ | 26.02.1905 Битва при Мукдене. Русские разбиты Востоком — Японией.          |
| 3.10.1066 Битва при Гастингсе. Материк завоевал остров — Англию.           | $3^9 + 3^9$       | 13.06.1174 Англия — остров, разбила материк французов при Гленвилле...     |

Телеграмма: «Крестец Новгородский губисполком. В больнице лежит известный поэт Хлебников. Очень прошу оказать ему всяческое содействие при транспортировании его куда укажут его родственники и друзья».

Нарком Луначарский.

«...Силуэт года, построенный из троек в степени, напоминает корабль белых братьев (ракету) или силуэт божьего храма, где в высоту над мощной коробкой поднимается все слабеющая надстройка и все кончается иглой — шпилем. Год человеческий построен из нисходящих степеней троек:  $3^5 + 3^4 + 3^3 + 3^2 + 3^1 + 3^0 + 1 = 365$ .

Плотник, работавший над вселенной, бросая двойки и тройки в огонь возведения в степень.

Двойка и тройка в любой степени имеют смысл. Только надо порыться среди отбросов истории, чтобы понять этот смысл. Например, 2<sup>18</sup> в жизни народов — это странное колесо, переворачивающее судьбы государств. Бойтесь, народы, 2<sup>18</sup> степени, здесь вам положен предел. Тот, кто творил свайную постройку времени, заложил 2<sup>18</sup>.

|  |                 |  |
|--|-----------------|--|
| 753. Начало Рима.                              | 2 <sup>18</sup> | 3 09.36. Битва... боже, я забыл название, я забыл, но это был порог его мирового господства! |
| 862. Начало Руси.                              | 2 <sup>18</sup> | 26.10.1581. Ермак дошел до порога русской державы.   |
| 5.03.1198. Марш германцев на Восток.           | 2 <sup>18</sup> | 19.XI.1915. Смерть германской империи... Война и кровь синеглазого племени...                |
| Что такое 3 <sup>5</sup> ? Это урок возмездия. |                 |  |
| 2.XI.1880. Гарфильд — президент США.           | 3 <sup>5</sup>  | 2.07.1881. Гарфильд убит.  |
| 14.03.17. Керенский у власти.                  | 3 <sup>5</sup>  | 11.11.17. Керенский бежал.   |
| 13.03.1848. Восстание народа в Берлине         | 3 <sup>5</sup>  | 9.11.1848. Воин свободы Роберт Блюм казнен.  |

Боже, только бы не отказала память! Я путаю эти цифры? Тогда — конец! Я знаю свой конец. Я исчислил его. Трубите. В мир Млечного Пути мы выходим с вами при помощи знака степени. Не времена делаются событиями, а события делаются временем.

Стать коней. Кони, умирая, дышат...

«Дорогой товарищ Городецкий!

Посылаю вам ход болезни В. В. Хлебникова.

В. Хлебников родился 28 октября 1885 г. в селе Тундудове бывшей Астраханской губернии. Окончив в 1903 году гимназию, Хлебников поступил на математическое отделение Казанского университета... (Далее — зачеркнуто). Родные живут в Астрахани, Большая Демидовская, дом Полякова.

20 мая. Чувствовал вялость, жаловался на расстройство, пил черничный отвар.

22 мая. Затруднение в передвижении, слабость в ногах, неудаление мочи в пищевых органах.

23. Ноги еще хуже.

25. Принял глауберову соль, живот и ноги вспухли, принять льняное масло отказался.

26. Просил согреть ноги, потерял чувствительность ног. Бредит числами.

27. Жаловался на боль в сердце, просит свезти в больницу, ночью бредил числами.

Стихи, которые он, уезжая в больницу, мне подарил.

## К ТРУПУ МАМОНТА

Уж не одно тысячелетье,  
Когда гонитель туч  
Гнал птиц лететь морозной плетью,  
Птицы тебя знали, летя над Сибирью.  
Тебя молнии били, твою шкуру секли ливни,  
Ты знал ревы грозы,  
Ты знал свист мышей,  
Но как раньше сверкают согнутые бивни  
Ниже упавших на землю ушей.  
И ты лежишь в плащах космато-рыжих,  
Как сей земли тунгус бежит на лыжах,  
Чернея тонким узким глазом...  
Я расскажу вам, как из будущего чую мои  
зачеловеческие сны.

28. Свезен в больницу Крестцы.

29. Выпущена моча, дано слабительное.

30—5. Улучшение.

6. Повышение температуры (39). Отказывался спускать мочу. Видел образы людей и чисел в цветах.

7. Опять видел образы людей и чисел. Ухудшение.

8—11. Общее ухудшение. Положение врачами признано безнадежным. Началась гангрена.

11—22. Общее ухудшение, душевное состояние спокойное. Видит образы...

23. Состояние болезни безнадежное. Врачи требуют взять из больницы. Привезен к нам в деревню Санталово.

«Я понял! Гадание древних: огромный таз, в него падают тяжести. Каждая в два раза тяжелее первой. А после и в три раза тяжелее.

И раздается гул: в тазу рождаются цепи звуков — прекрасные и дурные — по ним гадали судьбу.

Двойка и тройка — в них разгадка будущего. Свайная постройка Вселенной сооружена из двоек и троек, вколоченных повелительным молотком Степени.

Пройдемся разумом по его грубым бревнам.

Вместе с Вселенной — вперед, по руслам наименьших неравенств в открытые поля наибольших равенств. Я Урус-Дервиш, удары моего сердца в два и три такта... Какой свет... Поле, запах, земля, лес, луна, облако, волосы, ступни ног, деревья и звуки, запах хлеба... Сердце: двойки, тройки... раз-два... раз-два-три... тук... тук...

24 июня наблюдалась рвота, речь спутанная, часто непонятная.

25. Заметно ослабел, не мог подниматься, видел образы людей в цветах, говорил, что летал, хотел описать планету Юпитер (описывал планету).

26. Речь опять едва понятная. Просит самогонки.

27. На вопрос, трудно ли ему, ответил: «Да». И повторил: — «Да!» Это и было его последнее слово...

28 июня в одиннадцать утра Велимир ушел с земли. Крестцы Новгородской губернии, деревня Санталово. Рост два аршина и 1/2 вершка, величина черепа 58 см. Похоронен двадцать девятого на погосте в Ручьях, в левом углу у самой ограды параллельно задней стене, меж елью и сосной. На сосне надпись и дата. На гробу написано «Председатель Земного шара Велимир Хлебников». И нарисован Земной шар.

## О ЛЮБВИ К ГРАВЮРАМ

— В тот год я готовил Гамлета... Я изучил все о Шекспире. Мы были тогда на гастролях в Петербурге. Это был еще Петербург, не вся старая интеллигенция вымерла...

Пришел я в гости к художнику В., с которым мы и пропьянствовали всю белую ночь. Я рассказал ему о своем Гамлете, и вот тут он мне и предложил: «А не хотите поглядеть на потрясающую гравюру: артист Гаррик — да, да, сам Великий Гаррик из XVIII века... в роли Гамлета у бюста Шекспира?» У меня дыхание перехватило!

И вот мы в какой-то Петербургской трущобе. Встречает старикан, открывает невообразимый сундук и вынимает... Такое может быть только в Петербурге! Гравюра: актер Гаррик, этак подбоченясь, стоит у бюста Шекспира. Гаррик был очень хорош, но бюст Шекспира! Из угольных гравюрных сумерек глядело... клянусь, совершенно живое лицо! Сразу спрашиваю — сколько? «Пять тысяч», — отвечает старикан, — это ее цена».

Да я и сам вижу — ее цена. Но дорого! Я любил тогда пить, жить, любить. Пять тысяч! Я представил себе свалку бутылок водки — и отказался.

Я вернулся в Москву, но уже никак не мог отделаться от видения: стоит Гаррик, стоит, проклятый, и рядом — живой Шекспир! И понял — не могу жить. Дайте мне этот угольный сумрак! Дайте мне это

лицо Шекспира! Какой-то расхлистанный, лохматый Шекспир, и с таким веселым выражением! Клянусь, этот бюст лепили с натуры! Подайте мне этого беспутного Шекспира! Хрен с ней, с водкой. И я решил ехать. Весь следующий день я собирал деньги. Потом взял билет на двадцать третье. Было двадцать первое июня.

На следующий день началась война. А дальше — смерть, кровь, гибель. Стыдно сказать, но всю войну я помнил о гравюре.

Кончилась война — и я сразу приехал в Ленинград. Город, мой любимый город был ужасен — в развалинах. Я пошел к художнику В. — узнавать адрес старика. Художника не было в живых. Я сидел за столом и слушал его жену: «Я ждала его у подъезда, он пошел обменять на хлеб нашу последнюю золотую вещь — медаль академии. От голода мы были сонные, как мухи. Потом я увидела, как он медленно-медленно возвращается по мосту. И я тоже с трудом, медленно-медленно, пошла к нему навстречу. Но мы так и не встретились. Он упал на моих глазах посреди моста».

Она рассказывала и торопливо ела, как ели тогда все ленинградцы, заметая ребром левой руки со стола крошки в правую ладонь и быстро отправляя их в рот.

Я не посмел спросить ее об адресе.

Я пошел искать сам.

Самое смешное — я нашел этот дом. Поднялся наверх — и сразу узнал квартиру. Я позвонил. Как стучало сердце! Как в молодости перед свиданием. Но никто не открывал дверь. Я позвонил опять, и снова не открывали. В отчаянии я жал на звонок. И вдруг за дверью раздались... да, да — шаги! Старик открыл дверь. Он даже не постарел, он просто иссох: живой скелет, кожа и кости. Так выглядели тогда многие в городе.

Старик поздоровался, а потом сказал:

— Все умерли, я тут один живу, я плохо слышу.

— Я актер Л., — сказал я, войдя в комнатенку.

— Да-да, узнал вас...

— Я пришел узнать о гравюре...

Старик усмехнулся.

— Она... есть? — спросил я с замиранием сердца.

Глаза старика стали беспощадными.

— Есть!.. Но если вы думаете, что она стала дешевле, вы ошибаетесь!!

## О ЛЮБВИ К АСТРОНОМИИ

— Некий ответственный работник, которого недавно назначили руководить планетарием, однажды ночью сидел в своем учреждении. В те далекие годы ответственные люди работали по ночам, а днем — спали. Это я поясню для молодых людей.

Итак, наш работник сидел в своем кабинете, когда зазвонил тот самый особый телефон. Работник бросился к телефону и услышал в трубке ответственной голос. Работник задрожал. Поздоровались.

— Окно от тебя далеко?

— Нет,— с трудом вымолвил работник.

— Подойди... Звезду справа видишь? Ну, такую блестящую... Недалеко от Большой Медведицы?

— Вижу!

— Сейчас у товарища Сталина в кабинете поспорили товарищ Каганович и товарищ Молотов. Товарищ Каганович говорит, что это — Орион, а товарищ Молотов — что это Кассиопея. Ты сам-то знаешь, какая это звезда?

— Нет,— совсем испугался наш работник.— Я ведь недавно работаю с этими... астрономами.

— Тогда узнай там у своих подопечных и нам отзвони. Задание ясно?

Естественно, работник тут же начал действовать. К сожалению, в планетарии никого ночью не было, кроме самых ответственных лиц. Но те плохо знали астрономию. Пришлось искать другие каналы.

И вот к дому известного профессора Московского планетария А-ского подъехала черная машина. Профессор А-ский в ту ночь не спал. У него резко подскочило давление, потому что в этот день в планетарии прорабатывали его друга, профессора Б-ского. И теперь А-ский лежал, вспоминая свое выступление. Из очень понятного человеческого чувства он выступил против друга Б-ского с удивительно пламенной речью. Но сейчас он думал совсем не о речи. То, что Б-ский был его друг, означало, что вскоре может наступить и его очередь.

Вот в этот момент тревожных раздумий и раздался звонок. Пронзительный, надо сказать, звонок. Тот самый, можно сказать, звонок. Было два часа тридцать минут, это был очень серьезный час ночи.

Звонок неистовствовал. А-ский встал, надел штаны, жена сидела на кровати, бессмысленно повторяя: «Пуговицы, пуговицы нету». Звонок безумствовал.

Он открыл дверь. И увидел двоих. И рухнул навзничь.

В два сорок пять наш ответственный работник узнал о скоропостижной смерти А-ского. Прошло уже сорок пять минут, а простого задания выполнить не могли.

В два пятьдесят наш работник позвонил своему помощнику, и тот незамедлительно дал ему фамилию другого консультанта — членкора В-ского.

Опять завели черную машину, поехали.

Членкор В-ский был другой ближайший друг безродного космоплита Б-ского. Они с ним долго работали в Ленинграде в Пулковке. По-

этому, когда начались проработки Б-ского (а проработки эти проводились и в Ленинграде, и в Москве), членкор В-ский придумал благородный выход. Он сел в ночной поезд. И когда Б-ского прорабатывали в Москве — уезжал в Ленинград. Когда же проработка шла в Ленинграде — естественно, возвращался в Москву.

В этот день Б-ского прорабатывали одновременно и в Москве, и в Ленинграде. Поэтому наш В-ский махнул на все рукой и объявился больным. Он улегся в постель, вызвал врача, но ему показалось, что врач как-то странно расспрашивал его о здоровье. Членкор В-ский в ту ночь не мог заснуть: все вспоминал лицо врача.

И когда в три двадцать пять резко зазвонил звонок, членкор В-ский даже усмехнулся. Этого он ждал. Он был холостяк, ему было шестьдесят три года, жизнь была прожита. Под неумолчный звонок он раскрыл окно, посмотрел на яркие звезды и полетел в звездную ночь.

В четыре часа пять минут наш ответственный работник узнал о происшествии с В-ским. Только тут он осознал свою ошибку: надо прежде звонить по телефону, а потом уже — в двери!

Обливаясь потом, чувствуя, как дрожат колени, бессмысленно повторял он фразу: «Звонить надо было по телефону!»

В четыре пятнадцать он велел выдать ему номера телефонов оставшихся светил астрономии. До четырех пятидесяти он звонил по квартирам, объясняя разбуженным профессорам смысл вопроса. Его посылали к чертям, считая это ночным розыгрышем. На вторичные звонки просто не поднимали трубку — думали, что розыгрыш продолжается. Наконец, молодой профессор Ц., которому он успел проорать в трубку: «Только не пугайтесь, ничего серьезного», — начал с ним разговаривать. Было пять утра, и звезды на небе выглядели неважно. Но молодому профессору все-таки удалось установить имя светила.

В пять семнадцать на столе у ответственного товарища зазвонил телефон.

— С добрым утречком... С некоторыми трудами... хе-хе-хе, но название установили: это яркая навигационная звезда Капелла. Одна из самых красивых звезд в созвездии Возничего. По-древнегречески это имя козы, вскормившей бога Зевса. Так что прав товарищ Каганович, ибо Капелла находится как бы рядом с созвездием Орион. Прав, надо сказать, и товарищ Молотов, потому что по яркости она напоминает созвездие Кассиопею. Так что можете сообщить... — бодречествовал голос.

— Некому сообщать... Все давно ушли спать.

И, сладко зевнув, ответственный товарищ повесил трубку.

## О ЛЮБВИ К ВОЖДЮ

— Каждый свой приезд в Ленинград я прихожу в Эрмитаж. Но в последние годы... может быть, молодость прошла, но нет во мне прежнего восторга. Так и в тот мой приезд — заглянул в Эрмитаж, прошелся бессмысленно по знакомым залам, осмотрел какие-то сервизы и вдруг понял: скучно! Все знаю! Все видел!

Время двигалось к закрытию, из залов уже выгоняли, и я прошел на какую-то бесконечную мраморную лестницу, чтобы покинуть докучное место. И остолбенел: все было заполнено матросскими бушлатами, солдатскими шинелями. Они толпились на лестнице, лежали прямо на ступеньках, курили. И только тут я отметил электрический кабель осветительных приборов: это была киносъемка. Они ждали, когда опустеет Эрмитаж, чтобы в очередной раз штурмовать Зимний.

И тут сверху загудел в микрофон оглушительный, замечательно хамский голос: «Не задерживаться! Проходить! И только по запасной лестнице! Немедленно!»

Почему-то в ужасе я бросился на боковую лестницу. Она вывела меня на первый этаж, в очень странные залы, где доселе я никогда не был. В залах этих не было посетителей, в витринах лежали какие-то бусинки, разбитые кувшины. Старушки в форменных одеждах аукались друг с другом — так им было жутко в этой странной пустоте в надвигавшихся зимних сумерках. Наконец, я вошел в большой зал, где по стенам висели полуистлевшие ковры. В центре стоял чудовищный сруб. Я подошел к срубу и понял: это была погребальная камера. Погребальная камера гуннского вождя из четвертого века Новой эры. И все, что было на стенах, лежало прежде в этой погребальной камере: конский череп, золотой убор для лошади и этот полуистлевший ковер. Сам он лежал в следующей крохотной комнате у самого окна под стеклом. Он был гибельно черен. Череп, обтянутый деревянными складками — тем, что прежде было его кожей, — застыл в оскале. И там, в оскале, виднелся ужасный зуб, и чудовищна была прядь волос, сохранившаяся на черепе, — прядь свалывшихся волос из четвертого века. Но самое странное — это было его выражение. Ибо клянусь — череп с деревянной кожей имел выражение. Это точно! Я попытался понять, что оно значило, и наклонился над стеклом, когда услышал голос:

— А вы не боитесь на него смотреть?

Я поднял голову и увидел коротконогое существо без возраста, в идиотской прическе, с ярко намазанными губами, в форменной одежде смотрительницы зала.

— Ведь присниться ночью может...

— Нет, не боюсь. Мне он даже чем-то нравится.

Что тут с ней случилось! Она вся вспыхнула, зарделась, как девочка, потом сказала, почти прошептала:

— Мне он тоже нравится. И знаете, меня все спрашивают: «Как ты



с ним сидишь?» А я в любое место перевестись могу, меня вон в Малахитовый зал даже звали — у меня ведь стаж.

Я молчал, а она все говорила. И хотя мы были одни в зале, говорила почему-то шепотом.

— Вы не поверите — я ведь такая пугливая, всего боюсь. Мышей боюсь. Что со мною было, когда я сюда попала! Мы с ним вместе сюда поступили; его как раз привезли, а меня на работу приняли. Ну, я и попала к нему, в новый зал. И в слезы, конечно! Мне говорят: месяц поработай; первое место, которое освободится, — твое. Села я от него подальше, сижу, глаза поднять боюсь. А народу тут — никогда никого. День, помню, был солнечный, солнце в окна бьет. На него. И вдруг меня такое любопытство взяло: я так зажмурилась... и на цыпочках, на цыпочках... и заглядываю к нему. Вижу: под стеклом он лежит и мне улыбается. Я как закричу — и бежать. Бегу коридорами, рыдаю, озноб меня бьет. Оказалось, в тот день я гриппом заболела. Температура сорок. Лежу в постели. В ту ночь он мне и приснился: дескать, я — девушка, молодая да красивая, а он на коне за мной свататься приезжает. Конь богатый, но вместо морды у коня — череп. А сам он весь в золоте — ну, ясное дело, вождь! Пришла я сюда после болезни, а мне в профкоме говорят: «Держись, Глафира. Скоро из Рубенса, из зала, одна уходит на пенсию». Ну, согласилась я ждать рубенсиху! А сама снова... на цыпочках — шасть к нему! Вижу — лежит он без улыбки, печальный, как сейчас. Строгий. Ну, вождь! Тут я наклоняюсь над ним, а он... на моих глазах... улыбается. Признал, видать, меня! Через месяц меня к Рубенсу переводят. А ему старуху нашли — глухую да подслеповатую. Не надо, говорю, мне ваше-го Рубенса, я буду у своего вождя сидеть. Видать, судьба моя такая... И стала я около него сидеть. Уж восемнадцать лет сижу. И с тех пор каждую ночь он ко мне приходит: одежда — богатая, ничего не скажу. И тело у него белое. А вот лицо — такое же. Я сначала все нервничала во сне. А потом привыкла: что ж тут поделаешь — вождь! А какой он жестокий бывает и злой — ужас! Это когда на него посетители много глядят. Ух, как он посетителей не любит! Я вот их и пугаю — гоняю, ведь сердится он! И еще он старух не любит. Он любит молодых. Я вот за восемнадцать лет постарела с ним рядом. Он мне на днях так и говорит во сне: «Старая ты стала!» Ну, что ж поделаешь, я давно этого ждала, все думала, как же он уйдет от меня? И знаете, что он придумал: на днях на реставрацию нас закрывают, а меня в другой зал переводят! Ну, конечно, какая я ему пара? У него, говорят, сколько жен было, и все из разных национальностей. И все молодые. Я вам еще что скажу, — глаза ее заблестели. — Я как-то раз витрину открыла... да и поцеловала его! Так он три дня потом улыбался! Любит он женщин.

Она встала, оглянулась, потом положила руки под витрину. Что-то шелкнуло, и она приподняла крышку.

— Никто не знает, что я ее открываю. Вы подойдите... только не близко, он не любит, когда на него мужчины смотрят.

Жуткое грифельное лицо блестело, и зуб сверкал в усмешке. Да, да, кланусь — он улыбался!

— Что я с ним не пережила, — вздохнула она. — Все у нас с ним было... Во вторник на реставрацию закрываемся. Исстрадалась вся. Хотя бы вторник быстрее! А ему хоть бы хны — вишь, насмехается. Ну, ясное дело — вождь!

## О ЛЮБВИ К ЕДЕ

— Был я завлитом в областном театре. Ну, что такое завлит в областном театре? Ах, когда-нибудь я напишу об этой несчастной поре своей жизни. Главреж — самодовольный болван. Как только услышит, что на Таганке или в «Современнике» ставят то, что никому нельзя, — тотчас: поезжай в Москву, доставай ему эту пьесу. И доставешь!.. Сколько унижений перетерпишь — но доставешь. А он прочтет и говорит: «Грандиозно». И тут же ее в стол. А потом, на репетиции, расскажет труппе: дескать, сам автор прислал ему новую пьесу, но эта пьеса, в общем, — дерьмо!

Короче, вы поняли наш репертуарчик: что сверху велют, то «наш» и ставит. Народ в городе в театр, конечно, не ходит, а нам и не надо: у нас все билеты проданы! Потому что мы договаривались с заводами да фабриками, и те обязывали членов профсоюза посещать наши спектакли, чтобы расти духовно. Ну, члены профсоюза билеты покупают, а в наш театр — ни ногой. А мы и не в обиде: главное — план выполняем. А что людей у нас на сцене больше, чем в зале, так актеры наши привыкли и уборщицы довольны: нет зрителей — только грязи меньше!

В тот год нашему театру исполнилось пятьдесят лет. Ну, естественно, местные власти выхлопотали нам в Москве почетную грамоту для театра и два звания — одно главрежу, второе — нашему герою, он же парторг, он же старейший артист театра. Короче, все хорошо, все как у всех. И вот объявляют торжественный вечер по случаю юбилея. Взяли большой стол из спектакля «Заседание парткома», задник повесили из «Трактирщицы» — голубенький с облачками, ну а мне, как всегда, велели писать речи. Одну для птичницы из подшефного совхоза — поздравлять наш театр, а другую для главрежа — отвечать на поздравления.

Ну, главрежу я речь мигом соорудил (переписал его же прошлогоднюю, когда мы поздравляли консерваторию), а с птичницей повозился. Она букву «р» не выговаривала. Пришлось ей все слова без «р» писать. Ну, например: «драмтеатр» — нельзя, пишешь — «сцена» или «наш любимый коллектив». Пишу, потею, но зато думаю: пожру.

Дело в том, что в жизни у меня есть только одна страсть. Я не курю, женским полом не интересуюсь, но люблю, люблю, ребята, хорошо пожрать! А у нас в городе, как вы догадываетесь, с этим делом было куда как непросто. Хреново, откровенно скажу, было с этим делом, а моя страсть, как и всякая другая, требует удовлетворения. Вот я и думаю:

привезу в совхоз речугу и уж там-то пожру. Филейчики разные, потрошки уж мерещатся!

И вот приехал: птичница мою речь берет и руку жмет с благодарностью. И ни фиги больше. Все — ступай домой. А я воспален: все-таки неудовлетворенная страсть!

Короче, возвращаюсь я злой в родные пенаты и тут узнаю, что наше торжественное собрание посетит начальство. Ну, естественно, по этому делу готовится большой стол. Я сразу в мечтания: не упустить бы.

И только воображение разыгралось — как всегда, мордой об землю! Оказывается, за стол этот приглашен самый узкий круг: главреж, его жена, она же — наша героиня, директор, его любовница — наш местком и герой наш — парторг. А остальные за столом — городские власти. Ну зачем им этот стол, ну что они понимают в еде? Еду любить надо. Ну да ладно! Не такие обиды в театре терпишь. Черт с вами, думаю, не пригласили — хоть погляжу на этот стол, наслажусь, так сказать, эстетически.

И примерно за три часа появляюсь за сценой. А здесь, за кулисами, уже водружен стол из спектакля «На дне». И вокруг этого стола хлопочут неизвестные молодые люди. Открывают они чемоданчик и начинают вынимать отсюда еду в целлофановых пакетах. Только я наострился посмотреть, что там, под целлофаном, как прогнали они меня прочь. Сурово, можно сказать, прогнали. Ну, я не в обиде, я что... Сел в зале, и в девятнадцать часов началось торжественное заседание.

Вышел главреж, читает мою речь — бойком читает, хорошая получилась у меня в прошлом году речь, культурная. Похлопали ему, и «сам» из президиума похлопал.

Затем дошла очередь до моей птичницы. Тоже, видать, наловчилась, стерва, читать речи. Без запинки чешет: и про связь наших трудовых коллективов — театра и птицефермы, и про наше распрекрасное соревнование инкубатора и театра, обещает в конце речи дать яиц и птицы, если мы в ответ дадим больше хороших спектаклей. И тут, в разгаре моей речи, начинается птичница куда-то... ехать.

За ней трогаются и стол с президиумом.

В безумии птичница продолжает речь — и... уезжает в кулису. За ней в кулису исчезает все торжественное заседание. А к нам, к зрителям, вместо того стола заседаний выезжает совсем новый — гигантский стол, уставленный яствами. Зал замер. И стол с яствами остановился и стоит себе.

В зале не знают, что делать. Может, аплодировать надо, а может, наоборот, молчать? Молчим на всякий случай. А стол все стоит: на нем выпивка, закуски, а вокруг — пустые стулья. Жуткое дело мираж! Я близко сидел — и севрюгу вижу, и лососинку, и икру, даже цвет икры различил: красный и черный. Всем наслаждался!

А в зале по-прежнему тишина. Из-за занавеса птичница мой текст чешет — то ли со страха, то ли вконец обезумела.

А я в креслице удобно так устроился и любуюсь себе столом. Надо же увидеть такой натюрморт: икорка поблескивает, лососинка с балычком свет источают, бутылки водки с этикетками импортными — странные, элегантные...

Потом выяснилось, что это один молодой человек переусердствовал: он кулисы обследовал и рукоятку увидел. Спросил: «Для чего?» Ему толком объяснили: это рукоятка поворотного круга. А он дотошный: решил проверить — и нажал!.. И пошел наш театральный круг. Хотя другие товарищи говорили, что все было иначе: просто пьяный машинист сцены в люке своем заснул. А когда проснулся, увидел стол — и показалось ему, что он с ума сошел. Вот он рукоятку-то и врубил. А мне все равно. Главное, я все это воочию увидел. И считаю это большим счастьем, как и всякую встречу с истинной любовью.

## О ПЕРВОЙ ЛЮБВИ

Редактор толстого журнала Х. был приглашен на юбилей литературоведа С. Как-никак человеку стукнуло семьдесят пять, и за это время С., ровесник века, повидал немало: говорят, в молодости его бил Есенин. После этих побоев он и стал историком литературы. Его первая работа была на модную тогда тему «Руководитель национально-освободительной борьбы на Кавказе в девятнадцатом веке — Шамиль». Но взгляды переменялись — и в конце тридцатых Шамиль стал считаться агентом империализма. С. признал свою ошибку. Во время Отечественной войны Шамиль возник из небытия, и С. признал ошибкой, что он признал ошибку. В сорок девятом году со злополучным Шамилем опять случилось метаморфоза, и С. признал ошибкой то, что он признал ошибку в том, что он признал ошибку... После истории с Шамилем С. посвятил себя уже чистому литературоведению. Он даже стал директором института, где под его руководством и начал свою деятельность наш редактор Х. Вот почему редактору Х. пришлось идти на его юбилей.

Редактор Х. был мужчина мрачный. Сборищ в ресторанах он не любил, потому что все вокруг пили, а ему пить было нельзя — он был мужчина запойный. И еще потому, что он ненавидел людей. Ненавидел всех: жену, сотрудников и даже самого себя. Рассказывали, что в конце рабочего дня Х. выходил из своего журнала, переходил на другую сторону улицы и, злобно глядя через дорогу на покидающих журнал сотрудников, топал ножкой и произносил только одно слово: «Ненавижу!» Так это, не так, точно не знаю, а врать не хочу. Одно знаю: в день юбилея С. наш редактор Х. был в большой лихорадке.

Дело в том, что спецрейсом из Крыма доставили в его журнал красную сафьяновую папку, где лежала статья Самого. Честь для журнала, сами понимаете, какая, но и ответственность — тоже! Наш герой ознакоми-

мился с замечательной статьей, после чего нужно было запереть ее в сейф. Но оставить в пустой редакции, пусть даже в сейфе, т а к у ю статью! Дудки, и он решил взять статью с собой.

Он аккуратно уложил статью в сафьяновом переплете в японский портфель-дипломат, купленный на последнем писательском съезде, и отправился в ресторан «Арагви» на «юбилей прохвоста». Так он именова-  
л юбиляра, как, впрочем, и всех остальных.

У «Арагви» он отпустил шофера. Из дверей ресторана высунулось лицо швейцара. «На банкет», — сказал Х. и мимо очереди проследовал в ресторан. «Надо дать ему какую-то мелочь», — подумал он о швейцаре, но рука сама сунулась в тот карман, где мелочи не было. «Обойдется прохвост!»

За банкетным столом былолюдно — масса ненавистных знакомых. Его усадили рядом с жирной подлюгой поэтессой Б. Напротив него сидел другой негодяй — критик А. Этот развратный мерзавец А. все время перемигивался с толстой и тоже развратной поэтессой Б., а потом вообще не нашел ничего лучшего, как, дыша водкой, втиснуться между Х. и жирной тварью Б. От злобы наш Х. не выдержал, вскочил со стула и умчался в туалет.

По дороге в туалет он похолодел: вспомнил, что в бешенстве забыл портфель.

Бегом Х. вернулся в зал — и увидел, как ненавистный критик А., сдвинув его драгоценный портфель на соседний стул, полубоинимал развратную поэтессу Б.

В бешенстве Х. схватил свой портфель со стула — и отправился вос-  
вояси.

Для очистки совести он вяло «проголосовал» такси. Денег он тратить не любил. Такси не остановилось, и он с удовольствием поехал в метро. Придя домой, он долго грохотал стульями, чтобы разбудить жену. Жена назло ему не проснулась. Он прошел в кабинет.

В кабинете он зажег лампу, открыл портфель, чтобы еще раз насладиться зрелищем красной сафьяновой папки, и...

Сначала он даже не понял. Он тупо уставился в портфель, но прекрасного алого сафьяна в портфеле не было. Вместо него в портфеле покоилась какая-то зеленая целлофановая гадость: в зеленой целлофановой папке лежала статья ненавистного критика А.!

...Он все понял! Проклятье! У критика А. был тот же самый портфель, купленный на том же самом съезде. И, видимо, когда он пересел к похотливой поэтессе...

Обменялись портфелями! От бешенства Х. укусил занавеску и бросился к телефону. Он набрал номер:

— Позовите А.!

— Во-первых, следует говорить «пожалуйста», — раздался неприятный голос жены А., — коли вы звоните в первом часу ночи! А во-вторых,

Иван Иванович на юбилее Дмитрия Евгеньевича... А кто, собственно, спрашивает?

Он назвал и объяснил, что по важнейшему делу. Голос жены помягчел.

— Я передам ему, когда вернется. И он вам сразу отзвонит.

Х. нервно расхаживал по комнате и через пятнадцать минут не выдержал, позвонил снова.

— Нету дома, — уже сурово ответил голос.

В кабинет вошла его жена.

— Что случилось?

— Перепутал портфели, — злобно сказал Х.

— И, конечно, в портфеле что-то было! — торжествовала жена.

— Было! Было! — заорал он.

— Что ты орешь? Сам наделал — и орет! Ты что, не знаешь, какое сейчас воровство? Моя сестра проводила обследование в школе: собирала анализы мочи. Анализы поставила в чемоданчик и по дороге зашла в «Гастроном». Оставила чемоданчик на столе, но когда вернулась...

— Уйди! Я прошу — уйди!

Моча, однако, произвела впечатление, и он опять позвонил.

— Послушайте, — металлическим голосом сказала жена. — Я вам все объяснила: он на банкете, звоните завтра утром.

В трубке раздались гудки.

Мысль о похищенной моче совсем вывела его из равновесия. Он позвонил в «Арагви» — и с ужасом услышал, что банкет час назад как закончился. Страшные мысли пришли ему в голову: хорошо, если этот развратный сукин сын ушел с тварью Б. А если он на улице подцепил какую-то... А та украдет портфель! Он опять позвонил.

— Нету! — рявкнул голос жены.

В безумии он опять набрал номер.

— Я вызову милицию!

Опять гудки. Он снова набрал.

— К черту стыд! — успел он проорать в трубку. — Вопрос идет о жизни и смерти. Исчезла статья руководителя государства! Где ваш муж? — вопил он.

— На банкете! — орали в трубке.

— Банкет закончился час назад! К черту стыд! Если вы можете предположить, где ваш муж, немедленно сообщите!

В ответ сказали нехорошее слово, и послышались гудки.

Он опять позвонил, телефон не ответил. А он все звонил и звонил.

Потом он катался по полу, и ему вызвали неотложку.

...Критик А. вернулся под утро. Жена не спала.

— Ну и банкет был, — сказал он и потянулся чмокнуть супругу.

В ответ получил молчаливый удар в переносицу.

...Уже через час редактор Х., оправившийся от припадка, держал в руках драгоценный красный сафьян. Он прижимал его к груди, поглаживал, страстно ласкал застёжки.

В первый раз в жизни редактор Х. испытывал любовь.

## О ЛЮБВИ К ЦВЕТАМ

— У меня фигура — обалденная. Когда я от первого мужа ушла... он был наркоман и художник... он всю кровать промочил слезами, на матрасе спать было нельзя, когда я от него ушла. Так убивался. Потом он с собой покончил.

Всю жизнь я мечтала о путешествиях, думала, познакомлюсь с интуристом и ухляю в путешествие. И действительно, во второй трети жизни все осуществилось. Это мне цыганка жизнь на трети поделила. Так что я начну рассказывать сразу со второй, самой идиотской трети, когда я уже вышла замуж за Генриха.

Генрих был интурист и фирмач. Я уехала с ним в Голландию, в Хуэнвенбрюкен... Город у них такой, простите за выражение. Генрих был парень, который знал, что главное в жизни — это «ход». Он все время делал «ход». И вот он сделал такой «ход»: женился на мне. Сначала он ухаживал: каждое утро он приносил мне дневник с очередной надписью: «16 января, видел ее. Люблю... 17 января. Шел дождь, я ее люблю...»

Наш роман состоял в том, что я говорила по-русски, а он ни хрена не понимал и балдел от моего темперамента. И писал в дневник: «19 января. Перепил, рвало. Я ее люблю...»

Правда, когда я вышла за него замуж, у него оказалась жена на девятом месяце. И еще у него оказался друг Майкл. Майкл был психиатр из Штатов. Он брал сто пятьдесят марок за беседу. Во время беседы он подсказывал «ход».

Вскоре у Генриха от жизни со мной появились проблемы: он даже начал ходить в носках по городу Хуэнвенбрюкену. Правда, у них улицы аккуратные и шампунью вымытые — французской шампунью. Мы за нее в очередях давимся, а они ею тротуары моют. Вообще страна чистая. Садики перед домами, тишина, только «чик-чик» слышно. Так они стригут свои сады. Ну, естественно, наш садик я не стригла, и он здорово зарос бурьяном. Потом соседи приходили ко мне, стригли его сами — чтобы вид улицы не портил. А я еще выбирала кому доверить стрижку.

...Мой Фредди... нет, Фредди — это потом. Это уже в Мюнхене. А пока Генрих-компьютерщик, дерьмо в носках... Меня в первый же день от жизни в этом Хуэнвенбрюкене такая тоска охватила. Представляешь, живу в Голландии — и каждый день хляю в лес. А соседи, чуть солнце, бац в шезлонги, и морды кверху — загорать. Солнце у них, ви-

дишь ли, редко. Справа сосед лесник, слева старик с супругой и котом. Вся ночь ловит этого кота: то ли бить хочет, то ли кормить.

Да о чем я? И вот тут Генрих мой и взбесился и начал ходить в носках. Он, видите ли, стал банкротом. Я, говорит, с тобой банкрот в моральном, сексуальном и в денежном отношении. Ты, говорит, слишком дорога для меня. Вот в это время Майкл за сто пятьдесят марок и придумал для него «ход»: «Тебе, — говорит, — надо немедленно развестись с русской сукой, а пока живи с тухлой голландкой, рыжей и грязной». И вскоре узнаю, что мой идиот точно сделал такой «ход»: «Я, — говорит, — теперь живу с уборщицей в баре — настоящей голландкой. Ну, тут я пришла в транс: представляешь, я для него, гавнюка, Родину бросила, березки, маму, наркомана-мужа, который застрелился. Беру чемодан, почему-то кладу туда трусы Генриха и зубную щетку и начинаю звонить по странам. Сначала какому-то миллионеру. Он старец, но у него пластическая операция. По виду ему — семнадцать, а на самом деле — семьдесят один. Когда его со мной познакомили, я точно поняла: он на меня клюнул. Кстати, у него дом с бассейном. Звоню, и пока своим ломаным английским объясняю деду, что и зачем, вдруг понимаю, а на хрена мне его бассейн? Я ведь все равно напьюсь с горя и обязательно утону в его бассейне. В конце концов я полетела в Мюнхен к Фредди. С Фредди мы встречались один раз, но он точно на меня клюнул.

Приезжаю — не узнает. Ну, я ему объясняю, где, когда и как у нас было. Потом немножко выпиваю и жду. Никаких приставаний. Ведет себя как джентльмен. Относит меня на руках на кровать. Кладет. Ну, дебил — типичный немец. Переспали только на третий день. И потом каждый день в десять вечера он загонял меня ложиться спать — это у него «режим», у немца проклятого. Но вообще-то он был хороший, Фредди. И главное — нормальный, в носках не ходил. Но я начала немного тосковать по Генриху. Вообще Генрих безумно напоминал мне моего первого мужа — художника и наркомана. Тот был красавец, но тоже с причудами. Очень любил плясать ночью. Соседка под нами трезвонит, чтобы он унялся. Уймется. Заснет. А в три ночи проснется и решает, что надо позвонить ей — извиниться. Вежливый, интеллигентный. Ну, дальше все понятно. Однажды мы подрались, и так ему захотелось мне приятное сделать, чтоб помириться, и, пока я спала, он принес мне в подарок кошку с помойки. И сунул под одеяло. Через день мы оба чесались и такие колтуны на головах — стригучий лишай. Ну, слава богу, за ней усыпалка приехала.

Ну, возвращаюсь я в конце концов к Фреду... то есть подожди — от Генриха к Фреду я уже прилетела в Мюнхен. Нет, это я из Мюнхена возвращаюсь в Хуэнвенбрюкен к Генриху! В саду все подстрижено, но в доме все перебито. В гостиной валяются Мартели, а в уборной стоит гречневая каша. Оказывается, эта сволочь стал без меня сыроедом, бросил уборщицу и начал жить с психиатром Майклом. Увидел меня — в слезы! Ну, говорю, Фред... то есть Генрих, я же к Генриху прилетела...



Генрих, ты из них самый лучший. Помирились. Сидит Генрих, жрет свои сырые дела, а вокруг него куча повесток в суд. Оказывается, он без меня придумал такой «ход»: на фиг продал наш дом и купил новый в Амстердаме, кстати, гаже и тише города не придумаешь. Тут психиатр Майкл и подсказал ему: ты любишь воду. И по Фрейду можно сделать такой вывод: если ты любишь воду — значит, ты хочешь трахнуть белую мышь. Мой сидит в носках, уши развесил. Говорит: все, становлюсь психиатром, буду сидеть в кресле, как Майкл, — думать и получать за это кучу долларов. С работы он, естественно, ухилил, ну, фирма на него в суд, жена — в суд. Думаю, все, надо куда-то сматываться: Генрих спятил, денег нет, одни Мартели по дому. И вот тут я прочла в «Нью-Йорк Таймс» про знаменитого геронтолога. Думаю — наконец! Фред, Генрих — это один «левел» (то есть уровень). Это ограниченные мужики. А вот знаменитый геронтолог из «Нью-Йорк Таймс» — это что надо! У него девять детей, и все на чем-то играют! Сам он четырежды кандидат на Нобелевскую премию и все время сидит по тюрьмам. Потому что принципиально не платит налоги. Друг Сальвадора Дали. Ну, точно, мой человек! Пишу ему письмо: про подсознание, про все эти Майкловы дела, про то, что Генрих не хотел трахнуть кухарку, а хотел жить с белой мышью и т. д. И что ты думаешь? Приходит ответ: приезжайте! Снимаю со стены свою балалайку — они ведь там всей семьей играют. Думаю, конечно, за геронтолога мне не выйти, но, может, за одного из девяти играющих детей? Только купила билет — телеграмма: оказывается, жена геронтолога участвовала в какой-то демонстрации, ее толкнул полицейский, и у нее выкидыш. И теперь геронтолог предъявил государству иск на 102 миллиона долларов. Так он оценил жизнь малютки Кобус, исчезнувшей из пуза его жены. Представляете, эмбрион, а они ему уже имя придумали. И ведь получают за свой эмбрион 102 миллиона, точно знаю: деньги всегда к деньгам идут! И тут меня взяла такая невралгия — дышать нечем. Суперкатаральный стресс называется. Думаю, если через час не брошу всех этих Фредов, Генрихов, геронтологов, старцев с балалайками и бассейнами...

Короче, возвращаюсь в Союз. А мамы нет. Тю-тю мама!

Тут, пожалуй, пора вспомнить о первой трети моей жизни с мамой.

Мама работала вахтершей — вахтершей, которая никого не может не пропустить. Ее, видишь ли, поставили, чтоб она не пропускала, а она всех пропускает. Ее хотели прогнать, но повезло: пес какой-то к воротам приبلудился, и за нее лаял. Ну, а потом у нее очередной любовник появился — где она их только брала. Если есть в округе дерьмо — сразу к маме. Вот этот любовник ее пса нарочно на усыпление сдал. И она ему простила! Но потом он ее бросил... Тогда она «космонавта» привела! Я ей говорю (а мне десять лет было!):

— Откуда ты знаешь, ма, что он космонавт?

— А он, — говорит, — сам мне сказал!..

Все понятно? Ну, этот «космонавт» нас и обчистил. Ну, потом я подросла. К тому времени маму уже все бросили: космонавты, собаки — все! Но она должна была о ком-то заботиться, а я уже здоровенная вымахала — чего обо мне заботиться. И она стала заботиться о цветке. Купила себе цвет в горшочке, поливает его, окучивает, болтает с ним — а комната у нас на север, солнце редко. Так она этот цветок выгуливать выводила: сама сидит на лавочке, а рядом с нею цветок, вдвоем гуляют! Цирк! Я как-то посмотрела на это дело и даже плюнула.

К тому времени я уже все знала про жизнь. Мы тогда жили на окраине, и в школу надо было идти в обход по мосту. А можно было напрямик — через пути, под поездами, а потом через зеленый пустырь в овраг, а там — через забор в ботанический сад, а там и школа. Вот на этом пустыре в овраге меня изнашивали ребята со школы. Ну, они набросились — я кричу, но они все равно это сделали. Глаза закрыли, чтобы я их не видела, но я их все равно видела через пальцы.

Пришла в школу мертвая. Сижу, и вдруг перед собой мамин цветочек вижу. И такая меня злость взяла: ничего, думаю, я вам покажу маменькин цветочек. Значит, подхожу я к одному из тех ребят, говорю: «Знаю, ты там был». Он орать: «Не я!» Говорю: «Заткнись. Хочешь, я вам еще приведу?»

— Это как?

— Ну, с девчонкой соседской пойду через пустырь, вы мне убежать дадите, а е...

Ну, взяла я свою подружку — и через пути. Они выскакивают, я — деру... Потом из-под вагонов смотрю. Картинка — прелесть: по зеленым носится красное платице и загоняют ее в овраг. Вот так я в овраг полкласса перетаскала. Как они мне все служили! Как боялись, что я их выдам! И те боялись, и эти! И с каждым днем все больше боялись. А я ждала. Что они мне только не давали, чтобы я молчала. Я все брала. И молчала. И ждала.

Ну и дождалась: одна решилась и матери все рассказала. Потом суд был. Я была свидетелем. Упекли голубчиков. Я на суде весело им подмигивала: вот так, ребята, не забывайте маменькин цветочек!

А второй раз я про цветочек вспомнила, когда меня опять, можно сказать, изнашивали. Не люблю я про эти все пакости, но из песни слов не выкинешь!.. Парк у нас готовили к весенне-летнему сезону. Ну, маляры были ребята из института — трудовая практика. Парк веревкой оцепили и скамейки красили. А весна была жаркая — сразу 28... Ну, один из «маляров» как-то вечером меня за веревку и манит. Ну, я вроде не понимаю, иду. Он мне рот рукой зажал — и на скамейку. Встала я вся зеленая, а он смеется: «Бензинчиком оттирать тебя надо». А я говорю: «Зачем оттирать? У меня улика должна быть. Так что, милоч, посади тебя — мне пятнадцать лет!» Он побледнел: «Слушай, ну ты же сама».

Ну, я в слезы, в голос! А он быстро-быстро лезет в карман и вынимает двести пятьдесят рублей — я таких денег сроду не видела.

— Я, — говорит, — куртку хотел купить...

А я все плакать продолжаю, а он мне деньги сует. А я все плачу, и ухожу... Но с деньгами. Так он и остался — в ужасе.

На следующий день он еще сто принес. И след его простыл. Вот так-то — маменькин цветочек!

На эти триста пятьдесят рублей и решила я в Москву махнуть.

Ну, нарасилась, подошла к поезду. А там проводник — веселый парень — подмигивает. Я сразу поняла: деньги сохранию. Поехали. Ну, как поезд тронулся, он меня и поселил в свое купе. А я пошла в туалет, марфет весь смыла. Когда вышла — как он испугался!

— Сколько тебе?

— Пятнадцать, — говорю, — а что, дяденька?

Ну, его и след простыл — до Москвы одна в его купе ехала.

Ну а в Москве я этим приемом долго пользовалась. Устроилась в прачечную, по лимиту, и стала жить в общежитии. Днем работаешь, а вечером: гольфы, юбочка школьная — и вперед. Стою, голосую — машины тормозят. В них дядьки толстые сидят.

— Подвезете?

По дороге смеется. Ничего, думаю, смелей, я тебе устрою маменькин цветочек. А дальше — домой. Дома приставать начинает. Я вроде сопротивляюсь. Ну, он свое... Ну, а потом — в рев: «Мне пятнадцать, дядечка». Меньше двух сотен не давали. И еще сами следили, чтобы детей у меня не было. Деньги я тогда на сберкнижку класть стала. Думаю, если так дело пойдет, кооператив построю.

С такси не слезала. По дороге поболтаешь с таксистом: он — ухаживать! А когда подъезжаешь: «Молодой человек, я кошелек забыла, сейчас вернусь...» И — через проходной двор. Я все проходные дворы знала. Ну а уж если не выпускает — тогда... последнее средство. Я, честно скажу, деньги бросать на ветер не люблю!

В это время и познакомилась я с Феликсом. Феликс сам пришел к нашему общежитию. Он всегда искал себе кадры на стройках, в прачечных — короче, среди нас, лимитчиц. Одет с иголочки, красавец. И сразу ко мне. Все наши смотрят вслед: он в машину меня сажает — поехали. Ну, кино! Приводит домой — обхождение: до меня не дотрагивается. Оказывается, у него был друг мужчина. Я так удивилась. Я в этих делах ничего тогда не понимала, я ведь из провинции, от маминного цветочка. А я, дура, сначала в него влюбилась, слава богу, что он такой оказался!

— Мы, — говорит, — будем как брат и сестра. Я тебя с такими людьми познакомлю...

И знакомил. Это были все восточные люди, важные люди. Они останавливались в «Пекине», в «Советской» — хорошие, просторные гостиницы. Я была для них студенткой — им ведь порядочных подавай... Один в Узбекистане такой пост занимал — вот он мне и рассказал, что у них там был детский дом для слепых. И вот эти пузатые старые дядь-

ки туда заглаживали, к слепым девочкам. К маленьким слепым девочкам. Говорят, потом его расстреляли за валюту... Когда его к стенке-то ставили, небось, он вспомнил про маменькин цветочек — про девочек-то слепых, мерзавец!

Потом мой голубенький Феликс познакомил меня с писателем. Точнее — поэтом. И смех и грех. Денег у поэта было много, и выпивки хорошей. Но одна беда — напьется и заставляет меня слушать свои стихи. Обычно посреди ночи. Ты устанешь, глаза слипаются, а он тебя будит: «Сейчас, — говорит — гениальное прочту». Что читал — ничего не помню. Читает и пьет, пьет и читает.

Сначала он придумал пустить меня по редакциям со своими стихами. «С твоей рожей они сразу тебя напечатать захотят. У них от сидения в редакциях постоянное возбуждение. Ты будешь действовать на них, как вольтова дуга. Секретарем Союза сделают! Первой поэтессой станешь!» А потом: «Нет, — говорит, — жаль мне тебя писателям отдавать».

И вот тогда-то он решил использовать меня поинтереснее!

— Есть ли, — говорит, — у тебя знакомые такие же порядочные девушки?

Были у меня три знакомых лярвы.

— Как же, — говорю, — есть. Три очень порядочных бедных студентки.

И повело! Оказалось, у него были очень важные друзья. И эти друзья придумали «скидываться»: как бы членские взносы платили. А он у них был вроде казначей. Эти взносы он должен был нам передавать, а нас передавать своим важным друзьям.

...Ну, что там происходило в его квартире и что там выделяли его друзья — рассказывать не буду. Я уже сказала — гадостей не люблю. Хотя все-таки странно — солидные люди. Ну да ладно, платили хорошо! Но постепенно, гляжу, начинают платить поменьше. Я смолчала. Потом он дает мне еще меньше. И новых девушек требует. Я высказалась. А он мне в ответ: «Знаешь, ты уже всем надоела. Мы разнообразия ищем. Без разнообразия нет творчества. Так что, жидовочка (он так теперь меня называл), будем расставаться».

К тому времени он на машине «Нива» стал разъезжать. Друзья его важные устроили его на работу на Мосфильм, главным редактором в объединение. И вот, гляжу, действительно, не зовет он меня больше! Узнаю: он на Мосфильме с массовой связался. Девушка знакомая донесла — она в массовке по холмам бегала. Поняла я, что меня «умыли». Но я ведь не мама, я с цветочком долго возиться не буду. Короче, стукнула одному парню кое-что про его девушку, которую к поэту приводила... А у мальчишка кое-кто кое-где был... Ну, и пошла раскручиваться машина. Наступил мой час. Зовет меня Ваня, тихенький, приветливый, вместо жидовки «радостью» называет, деньги сует и говорит: «Если вызовут те-

бя в качестве свидетеля, говори то-то...» Ну, деньги-то я взяла, потому что они мои, заработанные. И отвечаю:

— Я тебе ничего не должна, Ваня, ты членские взносы господские себе присвоил, так что какие показания мне давать — я уж сама решу.

Что там потом было! И разбирательство при закрытых дверях, и в Союз писателей меня вызвали, и справку он достал, что импотент, и потом другую справку — от жены, что исправился, и теперь только с нею, с женою, живет. Ну, я все честно на него показала, а про других его важных друзей — ни-ни-ни. В результате мне ничего, а Ваню из поэтов исключили, а потом он умер. Скоро умер.

Вот в это время, когда разбирали эту историю об украденных Ваней членских взносах, я впервые узнала кое-что про наших девушек «за бу-гром».

Дело было так. Обычно дома я сидела до десяти вечера, книжку хорошую читала. А потом — в «свой час» — выходила «прошвырнуться»...

И в тот день было все так же. Вышла. Вскоре, ну как обычно, скрип тормозов... Не оборачиваюсь... Жду, и вдруг бац — женский голос. От изумления — обернулась.

— Подвести не надо?

Смотрю — красивая, можно сказать эффектная, чья-то жена или дочка. Ну, я уже к тому времени все про все знала. Но с этим не сталкивалась. А я девушка любопытная, мне все интересно.

— Куда тебя везти?

— Да, в общем, куда хотите.

— Ну, если не возражаешь, заедем ко мне: кофе выпьем, посидим, меня зовут Александра. Можешь звать меня Алекс.

Приехали. Шикарная квартира, но такая грязная! Если бы у меня была такая квартира... Ну, села. Она сварила кофе и вокруг моего плечика незная колдует. И вдруг открывается дверь — появляется чудо-юдо. Тоже, видать, лет сорок, тоже, видать, хороша, если намазать, но сейчас — страшная, темная! Посмотрела я на нее, и она все поняла и говорит:

— А я себе сейчас мщу. Думаю, добью себя!

— Это моя подруга из Франции, — сказала Алекс, — то есть она русская, но замужем за французом.

Тогда это только начиналось. Я этих иностранцев как огня боялась. Это сейчас девки смелые, а моя молодость прошла в эпоху грузин — они были главные кавалеры. А иностранец для нас — это «шпион». С иностранцем тебя сразу «заметут».

Но я любознательная. Я люблю новые условия игры. Начинаю слушать, запоминать, учиться.

И эта старая французско-русская курва начинает рассказывать про какие-то Канарские острова, где она познакомилась с каким-то голубым

Коко. И стали они с этим педиком проживать как брат с сестрой. «Я, — говорит, — взяла его просто от одиночества». А голубенький Коко оказался художник и сын испанского миллионера. А в это время эта страholюдина на самом деле любила с итальянским графом, у которого, кроме титула, ни шиша не было. Потом Коко влюбился в итальянского графа, который должен был получить от кого-то наследство... Тут я совсем запуталась. Смотрю — Алекс дремлет, а французская дура написала — и ни с места! В двадцать седьмой раз рассказывает про Канарские острова и голубым у нее уже стал итальянский граф.

Потом Алекс проснулась, и мы с трудом затолкнули эту русскую француженку в другую комнату дрыхнуть.

— Ну, она у тебя с большим приветом.

— Нет, это все чистая правда. Она графиня. У нее даже есть замок. Как раз недавно она бросила своего графа и вышла замуж за Коко, поэтому сейчас она несколько расстроена. Кстати, лет пять назад я познакомилась с нею, как с тобой. В том же месте. Она тогда была худая, длинная, молода и чем-то очень похожа на тебя. Сними платье — я уверена: ты сложена, как она.

Платье-то я сняла, и все думаю: если такая шантрапа в замках живет, чем я хуже...

Вот с этими мыслями на следующий день вышла я в «квадрат». «Квадратом» назывался кусок, где в Москве наш главный «Бодисейл». Значит, «квадрат» — это «Националь» («Нац») — Совмин Телеграф — «Российские вина». Там и было мое место. После трех недель знакомства с Алекс я хорошо поняла свою цель. Мне было двадцать пять... Ну, ладно — двадцать девять! Я была клево одета (привет от Алекс), умела подержать «конверсейшн» (образование Алекс), прекрасно пила (привет от восточных людей), могла «покурить» (тоже привет с Востока, хоть мне это дело чуждо), я знала все сплетни в литературном мире (поэт Ваня) и могла вставить в разговор стихи Тютчева (ну, это, конечно, не поэт Ваня — он знал только свои стихи. Это Алекс). Я знала, что «после» надо обязательно говорить «мне никогда еще не было ни с кем так хорошо!» и что «двуногое» (термин Алекс) больше всего ценит, когда ему говорят «какой вы умный». При этом чем глупее, тем больше ценит. «Можешь говорить ему, что он сволочь, дрянь, убийца, сводник, но не забудь добавить про талант и ум» (Алекс). Короче, я готовилась к выходу в международные сферы. Я научилась говорить мало («Главное — слушай, в этом твоя сила, пусть говорят они». Алекс). Вообще Алекс я часто вспоминаю. Я когда обокрала ее и ушла, она три дня из квартиры не выходила. Говорят, по полу ползала, мой запах вынюхивала. Потом она мне письма в стихах написала, я не ответила. Потом она седуксен выпила с портвейном, и отец отправил ее в крэзу. Она мне оттуда тоже письма писала. Нормальные такие, только в конце письма у нее почему-то кошка разговаривала...

Короче, вышла я первый раз в «квадрат» с международными целями. Поджилки трясутся — думаю, «заметут». Это маменькин цветочек во мне боялся. Но я пересилила этот сукин цветочек...

Слышу — ко мне обращаются. Вроде по-английски. Гляжу — так дерьмово одет, я его сначала даже послала. А это оказался англичанин, богатейший фирмач. Они, оказывается, чем богаче, тем гаже одеты. Для них главный кайф — ходить в мятых пиджаках.

Ну, и дальше началось. Сняла я квартиру с телефоном, и полетел этот телефон из Москвы по всем странам мира: уедут — и друзьям передают. Времени стало в обрез, взяла я еще одну девку в кооперацию. Это был мой час: денег — навалом, если не звонят «организованные» — выходим на дикий промысел в «квадрат»... Тут на меня сразу клюют, подсказывает какой-нибудь фирмач. Только сказал три слова — предлагает жениться. Это у них такой «ход». Они знают, что наши дуры-потаскухи затем только и знакомятся. Вот и хотят фирмачи на ширмачка — ведь пятьдесят — сто долларов «такса». «Конечно, — говорю, — поженимся». Привозим его с напарницей домой — и под «душ». Пока он моется, карманы ему чистим. Когда выходит из душа, ору в панике: «Май мазер риторн вери сун», что значит: «Мама-ша скоро возвращается». Ну, он начинает в темпе одеваться, лезет в карман, а там пусто. Ну, если начинает шуметь — напарница в рев: «Мать с братом идет!» За брата у нас драйвер был. Ну, он и выметается... Тогда мы к «России», к гостинице. Там еще берем какого-нибудь — и все снова! И еще успеваем к ночи в мотель на Можайке...

Но так, конечно, мы поступали с «дикими» знакомыми. А которые «организованные», по телефону — тут все честно, тут «такса»... Работала я без промахов, только раз дала слабину: с моим драйвером, с Гошей... Я его однажды у себя оставила... А потом начала о нем думать. Ну, чувствую — не могу. Что он со мной только не делал: обкрадывал, бросал, я все терпела, пока не поняла: растет во мне маленький цветочек... Вот тогда-то вместо Гошеньки и организовала я себе Генриха. И его дерьмовый Хуэнвенбрюкен, простите за выражение.

...И вот теперь я опять в Союзе, в маминой комнате... Будто не было всех этих лет. Первое, что я увидела, войдя в эту, с позволения сказать, комнату, был мамин цветочек. Он совсем завял. Но торчал на окне. Я подошла к окну, открыла, посмотрела вниз, чтобы делов не надевать — и бросила мамин цветочек в окно. И сразу мне полегчало. А вечером позвонил мой адвокат из этого городка с неприличным названием. Сказал, что Генрих утаил деньги при разводе и тайно купил корабль. И теперь наша задача мотаться по всем морям и океанам — искать этот корабль. И вскоре я выехала из Союза добивать Генриха в его дерьмовой зеленой стране. Генрих вел себя как пират. Он прятал корабль во

всех гаванях мира. Мы с адвокатом летали по всем портам за этим летучим голландцем, но ни хрена не нашли.

Я осталась совсем без денег и начала пить. Напьюсь пьяная — и забываю, где я. Звоню по автомату в Москву Алекс и ору ей: «Алекс, мы тут в кабаке, деньги кончились — выручай! Какой адрес? Монмартр, улица Мартирс — драйвер довезет... Как это не понимаешь? Алекс, — кричу, — ты что ж, после психушки совсем понимать разучилась? Ты что, на Монмартр приехать не можешь? Лучшая б... Москвы погибает!»

Вскоре я поняла, что совсем сопьюсь. И вот тогда-то я и встретила негра Мишу.

В первый раз я встретила этого негра Мишу в СССР, в Калинин, когда меня выслали туда за «те дела». Калинин — это город «двух П». Туда высылали педиков и проституток. Негр Миша учился в Калинин в институте и жил в общежитии вместе с другими неграми Мишами. И вскоре все их общежитие было заселено пухленькими белокурыми служительницами Венеры, высланными из Москвы. И вот через столько лет в Париже мы встретились с этим калининским негром.

Я своего не упущу. Вскоре мы благополучно поженились. В это время в стране Миши произошел реакционный переворот. И к власти пришел страшный реакционер — султан, Мишин родственник. Миша был назначен его личным летчиком. (Миша летать не умел, он должен был просто сидеть с султаном в самолете.) И мы с Мишей рванули в эту страну. Там моего супруга ждал подарок: толстая африканская жена, которую откормили для Миши в одном из дальних селений. Потом по случаю третьей и четвертой годовщины победы султана над революцией Миша получил в подарок еще двух толстых красавиц. А я стала старшей женой... Надо сказать, это была страна моей мечты. Здесь я могла, наконец, пожирать свои любимые сладости утром, днем и вечером и ничего не бояться. Потому что чем больше я их ела, тем красивее я считалась...

Слухи о моем прекрасном теле, о моих слоновьих бедрах волновали всех. Люди щелкали пальцами, круглили глаза и восхищенно шептали: «Белая-белая, красивая-красивая, бочка на бочке». Теперь мой муж все чаще летал с инспекционными целями, а в это время мой дом посещали: сам султан, премьер-министр и начальник службы безопасности. Деньгами я не брала, только драгоценностями. Вскоре у меня в шкапулке лежали: бриллиант из чалмы предыдущего султана, знаменитый сапфир из короны императора Бекасы и еще кой-какие стекляшки. Не гнушалась я и встречами с простыми армейскими руководителями. Они и предупредили меня о готовящемся перевороте.

Однажды ночью на улицы вышли танки. Реакционного султана застрелили во дворце, моего мужа Мишу и начальника службы безопасно-



сти убили на олимпийском стадионе: сначала содрали с них живьем лоснящуюся кожу, а почки выбросили на беговую дорожку...

В это время я уже летела в Голландию. Я тяжело дышала, обливалась потом, с трудом умещаю свои прекрасные тела в самолетном кресле.

...Сейчас я веду торговлю драгоценностями по всему свету, а все капиталы держу в Швейцарии. Я помню, как в Москве одна знакомая проститутка по прозвищу Дрына мне говорила: «Все всегда, Нинок, нужно держать в Швейцарском банке».

Ничего, я показала этому миру маменькин цветочек!

## СОДЕРЖАНИЕ

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| О тщетной любви в сапоге . . . . . | 4  |
| О любви к другу . . . . .          | 6  |
| Еще раз о любви к другу . . . . .  | 10 |
| Опять о любви к другу . . . . .    | 13 |
| О любви к математике . . . . .     | 19 |
| О любви к гравюрам . . . . .       | 26 |
| О любви к астрономии . . . . .     | 27 |
| О любви к вождю . . . . .          | 30 |
| О любви к еде . . . . .            | 32 |
| О первой любви . . . . .           | 34 |
| О любви к цветам . . . . .         | 37 |

Эдвард Станиславович РАДЗИНСКИЙ

НАШ ДЕКАМЕРОН

*Рассказы*

Редактор М. Ю. Дементьева

Технический редактор Т. Я. Ковынченкова

---

Сдано в набор 19.07.88. Подписано к печати 12.09.88. А 10405. Формат 70 × 108<sup>1</sup>/<sub>32</sub>.  
Бумага газетная. Гарнитура «Гарамонд». Офсетная печать. Усл. печ. л. 2,10. Усл.  
кр-отт. 2,28. Учетно-изд. л. 3,19. Тираж 150000 экз. Заказ № 2795. Цена 20 коп.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография имени В. И. Лени-  
на издательства ЦК КПСС «Правда». 125865. ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.



## ● ПРЕДЛАГАЕТ ПРОКАТ

Спорт — это наше здоровье.

Спорт необходим и взрослым,  
и детям.

И если Ваш сын-первоклассник  
сегодня хоккеист, завтра — фигурист,  
послезавтра — турист, а через  
неделю лыжник, не отчаивайтесь!

С покупкой коньков, клюшек  
и палаток можно не спешить,

ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ  
СПОРТОМ ПРЕДЛАГАЮТ САЛОНЫ  
И ПУНКТЫ ПРОКАТА.

**Росбытреклама**